ВИКТОР
УЛИН
1989
1994
ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ИНСТИТУТ
СОДЕРЖИТ
НЕЦЕНЗУРНУЮ
БРАНЬ
18+

Виктор Улин

Литературный институт

«ЛитРес: Самиздат»
2018

Улин В.

Литературный институт / В. Улин — «ЛитРес: Самиздат», 2018

Книга посвящена Литературному институту имени А.М. Горького Союза писателей СССР, полный курс заочного отделения которого автор окончил в 1994 году по семинару прозы. Здесь можно найти мемуары о сокурсниках и сокурсницах – прозаиках, поэтах, драматургах, известных сейчас всему русскоязычному читающему миру. Также в сборник включены тексты 23 письменных работ, самостоятельно написанных автором по учебным заданиям в 1989-1993 г.г.© Виктор Улин 2018 г. – дизайн обложки (оригинал частное фото).Содержит нецензурную брань.

© Улин В., 2018
© ЛитРес: Самиздат, 2018

Содержание

Всем, кто был рядом со мной 5
Уфа 8
«Москва – Санкт-Петербург» 20
Вкус помады 48
Девушка с печи №7 56
«В то лето шли дожди…» 87
Конец ознакомительного фрагмента. 94

Всем, кто был рядом со мной в те далекие и счастливые годы

« – Но я таки попытался!
– сказал Иаков, потирая разбитое колено.»
(Виктор Улин. Из ненаписанного)

Всему свое время, и время всякой вещи под небом,

– так говорил иудейский царь Соломон.

Время читать чужие мемуары и время писать свои,

– так скажу я, русский писатель Виктор Улин.

* * *

Впрочем, это самое время не все делает *своевременно*.
Ведь даже лучшая из лучших, главнейшая из всех мировая сущность -

ЖЕНСКАЯ ГРУДЬ

– достигает нужного размера слишком поздно.

А вовсе не тогда, когда того хочется обладательнице.

* * *

Жизнь катится чем дальше, тем быстрее.

Если в детстве невыносимо длинными казались минуты, в молодости приходилось считать дни, то с определенного момента уже годы свистят, как пули.

Но не у виска, а прямо в сердце.

Традиционно принято считать что желание писать собственные мемуары есть неосознанное *предощущение конца*.

Насчет последнего – покажет жизнь.

Но тем не менее сегодня, оглядываясь назад – только назад, поскольку вперед смотреть нет никакого смысла, а на настоящее давно закрыты глаза – оглядываясь назад, я понимаю, что в жизни моей было нечто достойное.

Достойное даже в наше время, лишенное авторитетов, знаний, самого понятия о культурном пласте, созданной предыдущими поколениями и предыдущими веками.

Мне повезло: я родился в культурной семье.

В раннем детстве мама читала мне вслух «Евгения Онегина» (которого мой дядя Сима вообще знал наизусть!).

Я никогда не читал фантастики; «Трех мушкетеров» с трудом одолел до половины и бросил от скуки – меня всегда влекло к себе что-то реальное.

И сейчас я понимаю, что жизнь не обделила меня знакомствами с интересными людьми.

Например, с Семеном Степановичем Гейченко – директором Пушкинского музея-заповедника в селе Михайловском Псковской области.

Или с академиком Чазовым – министром здравоохранения СССР, личным врачом Л.И. Брежнева…

О них, возможно, я тоже когда-нибудь напишу.

А здесь я собрал несколько мемуарных очерков об одном из лучших периодов своей жизни: учебы на заочном отделении Литературного института имени А.М. Горького Союза писателей СССР в Москве.

Мой друг Литинститутских времен, Самарский драматург и прозаик Александр Ануфриев, с которым я делился некоторыми отрывками в процессе создания книги, написал:

– Слушай, ты единственный из нас, кто это делает. Пусть хоть что-то от нас останется!

Надеюсь, что в самом деле останется хоть что-то.

Конечно, любой выпускник нашего уникального учебного заведения может написать мемуары, но все видят по-разному одно и то же явление.

И кроме того, хочется подчеркнуть один несомненный факт.

Сейчас общий уровень высшего образования в России снизился почти до нулевой отметки, ВУЗы все как один поименовались университетами (без осознания самого понятия «*университет*») и перешли на коммерческую основу. Возможность стать студентом и выпуститься по любой специальности зависит только от платежеспособности соискателя.

В наши годы Литинститут финансировался Союзом писателей СССР со всеми вытекающими требованиями. Учеба была бесплатной, студентами становились на основе строгого отбора по творческому конкурсу, да и все пять лет никто никого не тянул, за творческую несостоятельность безжалостно отчисляли.

Поэтому сам уровень нас, тридцатилетних студентов конца XX века, отличается от таких же 30-летних выпускников 2-й декады века 21-го таким же образом, как издание книги в те времена (с включением с планы издательства, несколькими стадиями редактуры и «*невозвращаемым авансом*» автору) от ситуации нынешней – когда любой богатый графоман в течение 2 недель может издать свое 20-томное ПСС на мелованной бумаге, с шитым блоком и в тисненом переплете.

Sapienti sat.

Мне захотелось вспомнить своих сокурсников, воскресить в памяти какие-то черты и черточки той жизни, поведать что-то смешное, что-то грустное, но могущее быть интересным хотя бы тем, что по мере написания ко мне приходили мысли о литературе, которые я не излагал в других произведениях.

Разные части писались в разное время и с разными подходами; некоторые главы изначально не предназначались для широкого круга.

Однако по мере написания у меня возникла мысль вывести свою память на простор и объединить все фрагменты в одну книгу.

Что я и сделал.

Кое-что может повторяться, кое-какие детали могут не совпадать.

Я не стал менять ничего.

Оставил и реальные события и реальные имена.

Оставил все детали бытия и ту неповторимую ауру чувственности, которая окутывала будущих художников слова, стоявших у порога лестницы, которая казалась ведущей на Олимп.

И предложил почитать все, что возникает у меня в памяти при мысли о том здании на Тверском бульваре №25, где прошли с промежутками 5 лучших лет моей жизни – с 1989 по 1994 годы.

Надеюсь доставить своим бывшим сокурсникам ностальгическое удовольствие, а новым читателям – интерес от встречи с жизнью, которая уже никогда не повторится вновь.

Уфа

«И Степану Халтурину спать не дает динамит…»

Почему у меня сразу по написании названия в заголовке возникла строчка из до трепета любимой поэмы Пастернака «1905 год»?

Разумеется, не потому, что поэт был связан с этим городом.

Пастернак не имеет к Уфе ни малейшего отношения; ему здесь не поставили бы даже уродливого – словно монстр из компьютерной игры! – памятника, украшающего одну из площадей Оренбурга. И напоминающего всем прохожим. что Александр Сергеевич Пушкин в поисках материалов по истории Пугачевского бунта добрался на восток до этого городишки на границе Европы с Азией…

Нет, просто с окна своего 14-го этажа я увидел ползущий вдалеке нефтеналивной состав.

И подумал, что здорово было бы налить эти цистерны не мазутом, а динамитом, а потом грохнуть по одной из них кувалдой.

Чтобы взлетело на воздух все сущее вокруг меня.

В стоса и спаса и в протопопские херувимы,
в католикоса греческого и митрополита Санкт-Петербургского,
с загибом влево при тазовом предлежании,
в 33 света и в мутный глаз
– через 7 гробов в центр мирового равновесия!

1

Я родился в этом городе 22 июля 1959 года. Через

14 лет от Победы над Германией. Или 6 от смерти Сталина. 3 года после одиозного XX съезда КПСС, развенчавшего культ Вождя. Съезда, делегатом которого был мой дед по маме, партийный работник…

– так написал я сам о себе во внутреннем монологе полностью аутогенного главного героя романа «Der Kamerad».

Трагедия моя состоит в том, что дед Василий Иванович Улин был партийным работником союзного масштаба и после войны не вернулся обратно в Ленинград, откуда эвакуировался в 1941 году с одним из оборонных заводов.

Если бы он вернулся, то я родился бы ленинградцем и жизнь свою прожил бы совершенно иначе.

Вращался бы среди людей, а не среди воинствующего бескультурья, из которого так и не сумел вырваться.

* * *

Не помогло мне и то, что отец мой, врач-хирург-амбидекстр Виктор Никитович Барыкин (погибший трагически на четвертый день после моего рождения) был не просто из старой интеллигентски-барской семьи, а по своей матери Зое Ивановне Воронцовой происходил из ветви *того самого* дворянского рода.

И даже то, что и отца моего и дядю Михаила Никитовича, уважал один из последних русских интеллигентов этих мест – ушедший от нас Юрий Андрианов…

Высокий, тонкий, *серебряновеково* бородатый поэт, по возрасту находившийся ровно посередине между мною и поколением родителей.

* * *

И по сути дела всю свою жизнь я пытался выкарабкаться даже не из болота (из болота-то все-таки можно вылезти, если ухватиться за что-нибудь, растущее неподалеку), а из ямы в песке.

То есть оттуда, откуда спасения не может быть в принципе.

2

Писать я начал тому назад более полувека: 21 сентября 1967 года.

* * *

Эту дату отмечаю с биографической точностью.

Ведь до сих пор сохранилась одна из первых записей в дневнике, который я вел спорадически на протяжении четверти века.

В тот день я бодро сочинил собственное продолжение детской сказки -«Приключений мышонка Пика», не помню уже какого автора.

Правда, записать я этого сочинения не смог.

Не по причине неграмотности в 8 мальчишеских лет; читать я научился в 4 года, писать – в 4,5, а в 5 уже и читал, и писал и говорил по-английски.

Просто в ту осень, в первые недели моего второго класса, один одноклассник сделал мне подножку в школьном коридоре.

(Мерзавец – которого никто из дирекции не подумал как следует наказать за членовредительство! – давно умер. Но разбитое колено до сих пор напоминает мне о нем перед сменой погоды.)

Почти всю первую четверть я провел в гипсе.

Мог или лежать или шкандыбать с одной негнущейся ногой, но сидеть было очень неудобно.

И потому мама – заботясь о моем зрении и не позволяя лежа ни читать, ни тем более писать! – сама сделала эту запись под мою диктовку.

* * *

Так получилось, что свои литературные опыты я начал именно с прозы.

И хотя в 1976 году, в 10-м классе…

(Глупо влюбившись в невыносимо красивую девочку из класса 9-го, имевшую лицо девы Марии и красное платье в мелкую черную клетку – стянутое в талии и имеющее длину ровно такую, чтобы наивыгоднейшим образом продемонстрировать неземную красоту ее икр…)

Хотя 10-м классе, уже готовясь к экзаменам на аттестат зрелости, начал писать стихи, все-таки навсегда позиционировал себя именно прозаиком.

Но имманентная склонность к стихотворчеству отразилась в стилевых предпочтениях, которые когда-то очень точно выразил замечательный художник и умный человек Иосиф Гальперин:

в прозе работает каждое слово, в стихах – каждый звук.

* * *

В 1976-1984 годы я – подобно любому юноше из культурной семьи! – писал то сомнительные философские трактаты, то мемуары глубиной в пару лет.

А в 1984 сотворил свое первое серьезно спланированное произведение – роман «И буду жить я, страстью сгорая».

Позже из него получилась «Высота круга» – о том написано в мемуаре «Москва – Санкт-Петербург».

Развился как поэт и ощутил себя прозаиком я не в Уфе, а в Ленинграде, где провел 8 лучших лет своей жизни.

С 1976 по 1984 – сначала студентом, потом аспирантом математико-механического факультета Ленинградского университета.

Увы, чертова судьба вынудила меня вернуться к черту в эту чертову Уфу.

3

Задыхаясь от *духовной* и *душевной* пустоты в своем «*родном*» городе, осенью 1985 года я пришел в «Школу репортера» при популярнейшей городской газете «*Вечерняя Уфа*», выходившей чудовищными для тех дней тиражами по 100 000 экземпляров.

* * *

Заведующая отделом писем Лилия Оскаровна Перцева, в течении нескольких лет подряд набиравшая эту самую школу – курсы внештатных корреспондентов, на которых в значительной мере базировалась газета – приняла меня очень благосклонно.

Моя «*конкурсная работа*» – статья о проблемах свободного времени, написанная от тоски по бальным танцам, которые пришлось оставить – как и все прочие детали своей культурной жизни! – по возвращении из Ленинграда, была напечатана как образец.

* * *

Правда, в заголовке редактор, ничтоже сумняшеся, исправил на свой лад точную, *ритмично-аллитеративную* цитату из Пушкина «Паркет трещал под каблуком».

Очень скоро я понял, что журналисты – при всей кажущейся продвинутости – очень ограничены и в общем малообразованны.

Однако это не мешало мне любить свое побочное занятие и своих хоть и *внештатных*, но все-таки коллег..

* * *

Например, в моей памяти навсегда остался заведующий отделом спорта Юрий Федорович Дерфель.

Бывший спортсмен, великолепный журналист, глубоко культурный (без всяких шуток!) человек, виртуозный матерщинник и страстный любитель жизни

Однажды он попал в больницу.

В те *советские* еще времена продолжалась привычка навещать больного сослуживца.

Тем более, что в тот момент завотделом расстался с одной из супруг и был лишен женской заботы.

Одна из молодых сотрудниц – корреспондент отдела писем, неимоверно *фигуристая* девушка Ирина К. – взялась организовать визит, позвонила в стационар, сумела вызвать Дерфеля к сестринскому телефону и спросила:

– *Юрий Федорович, мы в вам собрались; чего вам вкусненького принести*?

– *Да ничего не надо приносить,*

– ответил матерый журналист.

– *От твоей попки откушу кусочек, мне будет достаточно*!

И был 1 000 раз прав: то место Ирины К. казалось аппетитнее, чем даже торт «Прага» в исполнении ресторана «Метрополь».

А однажды я встретил его на улице с известным уфимским журналистом Лазарем Дановичем, который собирался куда-то отъезжать, – то ли в Москву, то ли вообще в Израиль.

– *Какие новости, Юрий Федорыч?*

– привычно поинтересовался я.

– *Да вот он уезжает наконец,*

– Дерфель кивнул в сторону своего коллеги, не только еврейской национальностью, не только тем же самым именем и сходной фамилией, не только харизматической усатостью, но и еще чем-то неуловимым вызывавшего ассоциацию с легендарным Лазарем Моисеевичем, наркомом путей сообщения СССР, имя которого до конца 50-х годов носил Московский метрополитен.

– *Будет там Кагановича играть без грима!*

* * *

Работа при редакции – где я почти сразу получил красную книжечку с золотым названием газеты! – дала мне очень много.

В период 1985-1995 я опубликовал около полутора сотен материалов на самые разные темы.

Как *журналист* был очень востребован; ко мне стояла очередь из героев разного плана, желающих увидеть материал о себе, написанный моим пером.

Как *публицист* – коим стал довольно быстро – нередко попадал на редакционную «Красную доску», что положительно отражалось на гонорарах.

Постепенно пройдя все детские болезни роста, я начал писать рассказы, многие из которых были опубликованы все в той же «*Вечерней Уфе*».

Правда, публикации эти были сильно урезанными, причем далеко не всегда по причине лимита строк.

Например, не только было вычеркнуты такие предложения из рассказа «Мельничный омут»:

Маленькая грудь ее оказалась неожиданно тяжелой. Она была холодная, шершавая от мурашек, с туго набрякшим соском,

– но и вообще из всех текстов убирались любые детали, касающиеся самых лучших мест женского тела.

(Хотя в том же «Омуте» я ничего не придумывал, а лишь описал собственные реальные впечатления от зрелища обнаженных женщин, купавшихся лунной ночью около реконструированной мельницы в Пушкинских Горах, на полдороги между турбазой и Михайловской усадьбой…)

* * *

В «*Вечерней Уфе*» мне выпал – пожалуй единственный за всю жизнь! – шанс утвердиться за счет своих окололитературных способностей.

Где-то в начале 90-х годов, когда началась полная чересполосица в СМИ, мне предлагали стать *заместителем главного редактора* этой газеты.

Прежний замглавного Шамиль Сафуанович Хазиахметов ушел в бизнес, открыв собственное издательство.

На освободившуюся должность не сразу нашли подходящего человека, и в какой-то момент вспомнили об мне.

Известном всему городу блестящем мастере быстрого пера к тому же имеющем без пяти минут второе высшее специализированное образование – в Литинституте мне оставалось учиться пару лет.

Намерение сделать меня вторым человеком в «*Вечерней Уфе*» было столь серьезным что *кое-кто* даже обратился к ректору Башкирского государственного университета с просьбой *отпустить* меня на газетную работу.

(Всерьез, будто отношение ко мне со стороны университетской администрации не было характерным к любому интеллигентному, культурному и образованному, но *русскому* человеку в башкирии.

Примерно такое, что испытывал на себе герой анекдота неуловимый Джо, который был *нахерникомуненужен* .)

От работы в газете я гордо отказался.

И в принципе о том впоследствии не жалел.

Ведь должность заместителя главного редактора в ежедневной газете – не литературная, а собачья.

А дальнейший карьерный рост для меня – представителя *некоренной национальности* – был весьма сомнителен.

Тем более, что я все-таки был не администратором, а художником слова.

* * *

Понятное дело, что сотрудничество с газетой в качестве *прозаика* не могло быть продуктивным, и в конце концов я пришел в Союз писателей СССР.

4

Местное отделение СП всех русскоязычных авторов, без разграничения жанров, объединяло в «*русскую секцию*».

Серьезных прозаиков в Уфе практически не было – как нет и по сей день… – в секции копошились поэты всех мастей.

Но среди них были и талантливые и хорошие люди.

Например, Роберт Васильевич Паль, который меня всячески поддерживал, выписывал вспомоществования как «*молодому писателю*» и так далее.

Вообще в русской секции я сразу стал своим, там меня приняли очень тепло.

* * *

Я ходил на все заседания, с первых дней на равных с полноправными членами участвовал в обсуждениях произведений.

Ездил от Союза в район на юбилей покойного писателя Эдуарда Солодовникова.

Участвовал в двух (если не ошибаюсь) съездах писателей Башкирии.

* * *

Никогда не забуду, как во время перерыва между заседаниями мы сидели в кафе общественного центра, где проходил съезд, с писателем Леонидом Лушниковым.

За соседним столом щебетали две молоденькие татарочки из района.

Черноволосые и черноглазые, в несуществующе коротких черных юбочках и черных колготках на продемонстрированных до черных трусиков ровненьких ногах, они были не просто *хорошенькими* и даже не *очень хорошенькими*.

Они вызывали желание съесть себя одну за другой – как черный шоколад! – и запить черным кофе без сахара, который дымился перед нами.

– *Смотри, Леонид Алексеич*,

– сказал я, кося глазом, как кот, увидевший на полке сметану и прикидывающий, сможет ли туда допрыгнуть.

– *Какие у них ножки и все прочее наверняка тоже…*

И замолчал, ожидая реакции своего старшего коллеги по цеху.

– *Эх, Витя…*

– Лушников вздохнул с грустной улыбкой пожившего на свете мудреца.

– *Это же поэтессы! Они вместо того, чтобы трахаться, будут тебе всю ночь стихи читать!*

* * *

У меня имелись рекомендации для вступления в СП.

Причем тот Союз писателей был не чета нынешним «*союзам*» и союзикам, российским и «*международным*» – куда примут всякого, даже не владеющего грамотой, но готового платить членские взносы (с помощью которых благоденствуют хитрые организаторы, играя на тщеславии людей, жаждущих быть признанными «*пИсателями*» за несколько тысяч рублей в год). Члены СП имели эксклюзивное право на внедрение своих книг (приносящих гонорары в 7-8

тысяч рублей при средней зарплате 200 в месяц) в планы издательств, оплачиваемые «*творческие командировки*» для написания заказных произведений, выплаты из Литфонда СССР, писательские дачи и пр.

Одну рекомендацию мне дал упомянутый Роберт Паль, вторую – петербургский писатель Александр Скоков, третью мой семинарский руководитель из Литинститута Олег Смирнов.

(Хотя, если не ошибаюсь, достаточно было всего двух.)

Увы, вступить в СП СССР я не успел: обязательным условием была публикация двух собственных книг, а моя вторая книга «Конкурс красоты», намеченная на 1995 год, «*слетела*» из планов после того, как местный «*Башкнигоиздат*» стал *Китапом* со всеми вытекающими для русских авторов последствиями.

5

Вспомнив добрым словом русскую секцию Башкирского отделения СП СССР, не могу не сказать, что по-настоящему живая *творческая* жизнь кипела в другом месте.

В литературном объединении при местной молодежной газете «*Ленинец*», которым руководил другой хороший человек – поэт и прозаик, ныне покойный Рамиль Гарафович Хакимов.

Увы, в этой компании молодых (и не очень молодых) дарований я не ощущал себя *своим*.

* * *

Сам Хакимов был умным и талантливым, он видел творческую суть в любом пишущем человеке.

Именно ему принадлежит вступительное слово к рассказу «Место для года» (первому из всех опубликованных мною сочинений!). Он и настоял на публикации в «*Вечорке*» – убедил своего друга, главного редактора Явдата Бахтияровича Хусаинова отдать мне полполосы из ограниченного фонда, выделяемого ежемесячно на художественную литературу в злободневной *газете текущего дня*.

Рассказ с неплохой иллюстрацией художника Тамары Рыбченко получил хорошие отзывы, а на гонорар я купил своей тогдашней жене *Н.Г.(У.)* пальто (хотя честно говоря, рассчитывал на шубу…).

Но Рамиль Гарафович (годившийся мне почти в отцы) то ли к тому времени уже смертельно устал от многолетней работы с талантами по линии обкома ВЛКСМ, то ли последовал мудрому Мао Цзе-дуну, который вслед за еще более мудрым Конфуцием позволял на словах *расцветать всем цветам*.

И дела в литобъединении при «*Хр***нице*» (коим я именовал ту паскудную со всех точек зрения газетенку) пустил на самотек.

Даже не просто пустил, а отдал их на откуп людям, к *литературе* отношения в общем не имевшим.

Посему ничего хорошего об этом «*ЛитО*» я написать не могу при всем желании.

* * *

Тон там задавала некая поэтесса (именно поэтЕССА, не поэт!), чьего имени я не назову по принципу

De mortuis aut bene aut nihil

при непереносном смысле слова *mortuis.*

Недоучка, вылетевшая в свое время за безделье с первого курса филфака МГУ (!).

Прокуренная недевушка, аттестовавшаяся «*местной Цветаевой*» лишь за то, что – подобно одиозной поэтессе – пренебрегала формой ради одной ей понятной экспрессии текста.

(Хотя, возможно, она просто была неспособна отличить *ямба от хорея* несмотря на все усилия, что подмечал в ином человеке Александр Сергеич.)

* * *

Как всегда отступая от нити, скажу о поэзии в моем классическом понимании.

Стихи я и читал и слушал с невесть каких пор, одной из моих любимых была книга «Читая Пушкина».

Еще не став поэтом, я уже знал главные стихотворные размеры: хорей и ямб, дактиль, амфибрахий и анапест.

Это знание наполнило меня внутренним ощущением силлаботоники, единственно органичной для русского стихосложения.

Потому писать стихи я сразу начал в идеальном соответствии с канонами формы.

Я до сих пор пишу их именно так; я никогда не считаю слогов, ощущая стихотворный размер внутренним слухом несостоявшегося музыканта.

Неточность размера я вижу даже не проговаривая стихи, а читая текст.

Просодические ошибки бросаются мне в глаза, неверные рифмы режут внутренний слух.

Я полагал, полагаю и буду полагать, что в стихах главное значение имеет форма.

Стихи, не имеющие формы (при любом, хоть самом глубоком содержании!) – это не стихи.

Ведь даже дубовый рэп – *современную усладу черни* – можно пропеть мелодично. Но такой текст не является *стихами*; он умирает, будучи написанным для молчаливого прочтения.

Действительно великие поэты всегда следили за формой своих стихов; редкие исключения лишь подтверждают правило.

Ахматова очевидно случайно *потеряла* 2 слога в 8-й строке своей «Небывалой осени» – одного из лучших (если не лучших вообще!) своих стихотворений. Написанного тем изумительным 5-стопным анапестом с безударным слогом в окончаниях нечетных строк, каким были потом написаны и тот самый гениальный «1905 год» Пастернака и Рубцовские «Журавли», и лучшие песни Булата Шалвовича Окуджавы…

(И которому, кстати, за 40 с лишним лет стихотворчества то и дело обращаюсь я сам…)

То, что Анна Андреевна допустила ошибку именно *случайно,* говорит мне одна деталь: в третьей строчке «Осени» она ради соблюдения размера добавила один слог в слову «*дивились*», превратив его в просторечное «*дивилися*», совершенно чуждое в ее аристократических устах.

Но если поэт ничтоже сумняшеся пишет нечто, вызывающее впечатление о езде на телеге по булыжной мостовой, и всерьез именует это стихами… то с таким «*поэтом*» мне ясно все сразу и без слов.

* * *

Эта же *не-Цветаева* о размерах, судя по всему, понятия не имела вообще.

Но то не умаляло ее славы.

Звизда считалась *звездой,* признавалась почти гениальной и не просто была в фаворе, а являлась истиной в первой инстанции.

Мое положение осложнял еще и тот факт, что в более ранние времена я общался с нею на полудетском уровне, будучи с третьего по седьмой классы влюбленным в ее старшую сестру, мою соседку по парте.

Будущая Цветаева влюбилась в меня – студента мат-мех факультета ЛГУ – еще в школе.

Я взаимностью не ответил, имев по жизни иной тип женщин для любви; да я в те годы и не подозревал самой возможности сильных чувств в ком-то, кроме себя самого.

И можно себе представить деструктивную волну, которую обрушила на меня годы спустя ничего не забывшая *отвергнутая женщина*…

* * *

Хотя дело было не только в ней.

В те годы художники забыли о смысле художничества, а лишь *рвали друг другу пейсы* в бесконечных (и неконструктивных по самой своей сути!) идеологических баталиях, содержательностью своей напоминавших религиозные войны средних веков.

Все вращалось около одиозных в те времена антагонистических общественных организаций «*Память*» и «*Мемориал*» и напоминало древнегреческую пародию на «*Илиаду*», которая называлась «*Батрахиомиомахия*», то есть «Война мышей и лягушек».

Однако конфликты эти, шедшие во вред творчеству, были нешуточными по тому, насколько погрязали в беспочвенных взаимных оскорблениях умные и талантливые люди.

Даже с таким Художником с заглавной буквы, талантливым и мудрым гражданином мира, истинным светочем культуры, каким является Айдар Хусаинов в литобъединении мы тупо *мерились не пойми чем* вместо того чтобы проникнуться взаимным уважением.

Открыл человеческий взгляд друг на друга нам с Айдаром лишь Литинститут (куда он поступил года на два позже меня).

Об институте на Тверском бульваре, 25 написано в мемуаре «Москва – Санкт-Петербург».

* * *

Об Уфе же в моей писательской жизни сказать больше нечего.

6

Правда, некоторое время после окончания Литинститута я еще общался с остатками русскоязычной литературной гвардии СП.

* * *

Имел я и некоторое общественное признание своей литературной деятельности.

О чем говорят несколько интервью со мной в журнале «*Уфа*» и газете «*Уфимские ведомости*», опубликованные Лилией Зиминой – она приведены в мемуаре «Классик».

* * *

Организовал я две телевизионных передачи на Башкирском телевидении.

Одну провел как беседу у себя дома еще в Литинститутские времена.

Второй участвовал с опубликованной книгой «Ошибка» в рубрике «*Книжный дом*».

* * *

Один раз прошло интервью со мной по какому-то каналу радио.

* * *

Увы, все это ушло в *Plusquamperfekt*.

* * *

В очерке «Немного эмоций» из сборника «Отели Турции» я писал о том, что сегодня сменился *фокус* моего мировосприятия.

Да, все сменилось кардинально.

Десять лет тому я еще ощущал себя человеком: ездил на машинах, пил водку, играл на гитаре, пел песни и даже радовался своему отражению в женских глазах.

Пять лет назад уже нигде не отражался и ничему особо не радовался, но еще пил, пел и ездил.

В прошлом году уже и не ездил и не пел, но все-таки незнакомые люди не давали мне больше сорока лет.

В нынешнем я отворачиваюсь от всех попадающихся зеркал.

* * *

Мое мировосприятие сместилось еще и по естественной причине.

Страдая с детства плохим зрением, я видел неотчетливо и потому все вокруг казалось неизмеримо прекрасным.

В 2014 году я попал в серьезную автоаварию, после чего стал медленно, но верно слепнуть.

В 2017 я прооперировался, ко мне вернулось практически нормальное зрение – такое, о самом существовании которого я давно забыл.

Я стал видеть все очень хорошо и полноцветно… но боже мой, что я увидел!

До чего же омерзительным оказался на деле окружающий мир!

Какими тупыми и серыми сделались лица!

Сколь неизящными оказались женщины, которые прежде вызывали во мне бури желаний!

И как теперь я мог ходить по улицам, где не сделать двух шагов, не рискуя попасть в собачьи экскременты или выброшенный из окна использованный презерватив!

Увидев мир во всех его смрадных красках, я разом постарел на целую жизнь.

* * *

Сегодня о своем отношении к бытию я могу сказать строкой из стихотворения «Николаю Рубцову»:

И слетает звезда с утомленных от жизни небес…

7

Нет, в Уфе еще живет что-то литературное.

* * *

Кто-то что-то пишет, кто-то где-то с кем-то встречается и о чем-то спорит.
Есть и здесь талантливые русскоязычные литераторы сегодняшнего дня.
Перечислю самых мне симпатичных

* * *

Светлана Смирнова.
Поэт и прозаик, художник слова и фотохудожник, неоднократно признанный тонкий краевед – человек, влюбленный в свой город и свой край.
К тому же замечательная женщина, свои чувства в которой я изложил в мемуаре «Девушка с печи №7» .

* * *

Елена Чумакова – женщина нелегкой судьбы, умная и талантливая, столь симпатичная мне и как прозаик и как человек, что я по своей инициативе разработал ей несколько обложек для переизданного в физическом виде романа «Гроздь рябиновых ягод».

* * *

Есть, вероятно, и какие-то писатели-мужчины, но они проходят как-то мимо меня: судя по всему, я сменил сексуальную ориентацию и стал *лесбиянцем*, уподобившись герою абсурдного анекдота:

Кругом так много красивых мужчин, а меня все на женщин тянет…

* * *

Но в целом этот город уже давно не несет мне ничего положительного.

* * *

Я пережил свое *время обнимать*, настало *время уклоняться от объятий.*

8

Единственное тепло, связанное с Уфой – тот факт, что здесь я познакомился и живу четверть века со своей женой Светланой.

* * *

Фотография которой, сделанная еще в счастливом 1998 году, украшает обложку этого мемуара.
На ней моя любимая до конца жизни женщина сидит одетая в кружевной «*Catsuit*».
То есть специальное эротическое одеяние из секс-шопа, которое в свое время прислал мой немецкий друг по переписке Штеффен Требс, проживавший в городе Лейпциг.

С тех пор прошло 20 лет; жизнь изменилась в сторону далеко не лучшую.

Но моя судьба смотрит с той фотографии, радует мой взор и пытается примирить с глубоко безразличным городом моего рождения.

«Москва – Санкт-Петербург»

…уходит ровно в полночь.
«Москва – Санкт-Петербург»… Пустой перрон продрог…
И в сумраке ночном так хочется запомнить
Твой лик, твое лицо, потерянный мой бог…

Так пела в середине 90-х Анастасия.

Певица, в наши дни почти забытая – хотя за песню про ночной экспресс заслуживает легиона бессмертных.

Конечно, в угоду выразительности и соблюдению размера текст имеет неточность.

Отправление этой самой «Красной стрелы» – точнее, двух одинаковых скорых поездов из красных вагонов под номерами 001 и 002, отходивших в один и тот же момент навстречу друг другу от одинаковых по архитектуре вокзалов двух российских столиц – назначалось не *ровно в полночь*, а на минуту раньше. Поезд трогался в 23-59. Это делалось для удобства командировочных пассажиров, даты отбытия-прибытия оказывались разнесенными.

Равно как и скорость экспресса не была максимальной: он подъезжал к перрону назначения в то время, когда любой вновь прибывший уже мог спускаться в метро и ехать по делам, не ожидая час или два до открытия учреждений.

Но картина, переданная этими строчками, вызывает в душе бурю воспоминаний точностью своих чувств и красок.

Ночь, пустой (по причине того, что все уже спрятались в своих купе) перрон, быстрые шаги вдоль вереницы вагонов (что дает аллитерация трех «п» во второй строчке), стертые лица близких людей…

Не провожающих, а всплывающих в памяти: к «Стреле» приходили редко по причине ее позднего отбытия, да и вообще мало кто провожал людей, едущих по делам.

Тем более, никто никогда не провожал на этот поезд *меня*.

Но я слушаю старую песню рыжей Анастасии – или даже просто читаю стихотворение Анатолия Поперечного – и вспоминаю все то, что когда-то было привычным.

Этот ночной экспресс, пустой перрон неприветливой весны.

Легкую изморозь под ногами.

Воспаленный свет фонарей, которым – как и людям! – тоже хочется спать.

Вижу дымки титанов над красными вагонами.

Вдыхаю струйку сгорающего древесного угля, креозот шпал, еще что-то непонятное, но привычно железнодорожное. Томящее душу своим невнятным ожиданием… кому-то находок, кому-то потерь,

Даже слышу мелодию Эннио Морриконе, несущуюся из открытого всю ночь кооперативного киоска в начале перрона. Не из *ютюба*, не с компакт-диска – с обычной магнитофонной кассеты.

Погружаюсь во все это и вспоминаю свою ушедшую жизнь.

1

Я родился в Уфе.

Но с этим городом, к которому я прикован, как каторжник к ядру, у меня нет никаких чувств. Он не оставил во мне ни единого светлого воспоминания.

«*Малая родина*» для меня есть пустыня души, лишенная и цветов и живительных колодцев.

Ничего, абсолютно ничего не связывает меня с этим городом.

Все то сказано в мемуаре «Уфа».

Жизнь моя *настоящая* прошла в других городах.

В Ленинграде, где я получал свое первое образование, учась на математико-механическом факультете Ленинградского государственного университета имени А.А.Жданова.

И в Москве – там я *образовывался* во второй раз, когда был студентом заочного отделения Литературного института имени А.М.Горького Союза Писателей СССР.

* * *

В Ленинграде я жил с 1976 по 1981 год как студент, с 1981 по 1985 – как аспирант, потом вплоть до 1994 бывал там очень часто.

Ведь первым браком я был женат на ленинградке.

Имевшей, кстати, те же инициалы, что и та кукла с фарфоровой головой, что махала юбкой перед каждым усатым блондином на балах в Аничковом дворце. И про которую сейчас говорят, будто молодость и красота оправдывают даже то, что она своей дуростью погубила великого поэта.

Моя первая жена была замечательной женщиной, с дурочкой из Полотняного Завода ее можно было сопоставить только по тем самым «*Н.Г.*». Просто все случилось так, как *случилось*.

Но как бы то ни было, Ленинград стал первой частью моей жизни.

В Ленинграде (еще не ставшем Санкт-Петербургом) прошли два важнейших момента моей жизни: в 1983 году я познал свою первую женщину, в 1984 – написал свой первый роман.

Оба события были удачными и определили все дальнейшее.

Я не шучу, пиша об этих фактах биографии в таком контексте: первое дало первый толчок, второе определило меня как прозаика, хотя я до сих пор продолжаю писать стихи.

* * *

Моя литературная судьба пошла вперед и вверх именно с того *первого* романа.

Разумеется, он был несовершенен, перенасыщен событиям и героями: подобно всем начинающим авторам, я воспринимал его как *первое и последнее* свое произведение и постарался запихнуть в текст (600 машинописных страниц в 0,5 интервала без полей!) все, что могло прийти в голову.

Но через десять с лишним лет из старого произведения выкристаллизовался действительно хороший роман «Высота круга» .

Так или иначе, за 5 лет прозаических опытов я поднялся до некоторого уровня.

2

Вышел к читателю – сначала как журналист (внештатный корреспондент популярнейшей городской газеты «*Вечерняя Уфа*»), затем как публицист, потом начал писать рассказы и печатать их в той же газете.

В 1989 году с производственно-лирической повестью «9-й цех» – позднее вышедшей в №№1-4 журнала «*Гражданская авиация*» за 1991 год и составившей основу моей первой книги «Запасной аэродром» (Уфа, «*Китап*», 1993) – я стал участником IX Всесоюзного совещания молодых писателей.

Из Башкирии нас туда попали двое; вторым был Камиль Габшакуров.

* * *

Как сейчас помню один день того великого мероприятия.

Совещание проходило в гостинице «*Орленок*» – имевшей уникальную *3D-звездчатую* (пятилучевую в плане и пирамидальную в разрезе) архитектуру – где-то почти в области, недалеко от одного из аэропортов.

Но однажды нас вывезли в Москву на общий хэппенинг, для масштабов которого требовалось очень большое помещение.

Туда доставили централизованно на автобусах, обратно все добирались своим ходом, поскольку после события рассыпались по городу.

Нагулявшись до остекленения, мы с Камилем отправились к месту своего временного проживания, а перед посадкой на электричку решили подкрепиться на вокзале (уже не помню, на каком именно).

Мы топтались за стоячим столиком и, разнежась до беспредельности, делились планами на будущее, которое нам обоим в тот момент казалось неописуемо прекрасным.

– А вот когда я буду возглавлять в нашем Союзе писателей секцию по работе с молодежью…

– начал было я.

И не договорил, уронив себе на белые брюки политый кетчупом гамбургер…

Отчаяние мое – пижона, гусара и светского льва! – было беспредельным.

Откуда мне было знать, что я не только сведу красное пятно, но даже сумею продать эти поношенные брюки «*Montana*» через уфимскую комиссионку по причине того, что они мне были узковаты.

Причем процентов на двадцать дороже, чем купил их новыми – тоже в комиссионке, но в Ленинграде.

Но что планам моим относительно деятельности в Башкирском отделении СП СССР не суждено было сбыться.

Равно как и то, что в скором времени Камиль Габшакуров, умный парень и талантливый драматург, покинет литературу и уйдет в бизнес…

* * *

Это совещание оказалось последним из подобных вообще, но в тот момент о грустном не думалось.

Несмотря даже на то, что во время вечерних прогулок втроем с нашим соседом по двухкомнатному «*блоку*» – ингушским поэтом Сали Арчаковым – на огромной территории гостиничного комплекса мы то и дело видели знаки грядущего упадка.

Например, в одном дальнем углу обнаружили целое *кладбище унитазов* – как сказал остроязыкий Камиль.

Там стояли ряды блочных санузлов – завезенных для какой-то стройки, но за ненадобностью брошенных распадаться под ветром и дождями среди двухметрового бурьяна.

Но этот *Verfall* не произвел на нас гнетущего впечатления и не заставил задуматься о грядущих недобрых переменах в жизни.

Хотя бы потому, что каждое утро нас будил один и тот же поэт, выходивший на балкон своей комнаты и гонявший между красными флигелями эхо своих новых стихов.

Кроме того, там я познакомился с замечательными людьми.

В рабочем порядке совещание было структурировано по направлениям и разбито на творческие семинары сообразно стилям участников.

Мне повезло: моим семинаром руководили подлинные *личности*.

Эрнст Сафонов – главный редактор газеты «*Литературная Россия*», уже боровшейся с оборотной стороной той недоброй клоунады, что именовалась горбачевской «*перестройкой*».

Анатолий Ланщиков – независимый публицист, одиозный и умный.

От семинара у меня остался друг – Анатолий Шуклецов.

Прозаик и поэт, бывший геолог, неисправимый романтик и тонкий художник слова.

IX Всесоюзное совещание молодых писателей, пронесшееся в 1989 году, оказалось для меня трамплином перед прыжком в литературное признание.

* * *

В том же 1989 (сейчас не верится, как много радостных событий вместилось в одно лето того этапного года!) с тем же «9-м цехом» я прошел творческий конкурс на заочное отделение Литинститута.

То есть мои *как бы способности* были признаны квалификационной комиссией и меня допустили к вступительным экзаменам.

Какими именно были те экзамены, я уже не помню; вероятно стандартные для гуманитарной специальности, включавшие историю, язык и еще что-то.

Не помню потому, что за первый экзамен – сочинение – я получил «*пятерку*» и был зачислен в ряды студентов, минуя следующие ступени, поскольку среднюю школу в 1976 году окончил с золотой медалью.

Сочинение свое я до сих пор помню прекрасно. Писал его по «Мертвым душам», а в заключении сумел ввернуть еще и слова Акакия Акакиевича о том, что *нельзя обижать человека, не сделавшего никому ничего плохого*. Это место по сю пору видится мне ценнейшим в наследии грустного Николай Васильевича.

Помню свой *триумф Дон-Жуана*, когда я вернулся в общежитие из приемной комиссии, едва не возносясь на небеса от сознания от своей *уже почти впущенности* в сонм богов.

В *абитуре* (в той самой *литобщаге*, которой наполнена «Девушка с печи №7») я жил с драматургом самарцем Сашей Ануфриевым и прозаиком ленинградцем Лешей Ланкиным.

Первый остался моим лучшим другом на весь период учебы; второй бросил Литинститут, не окончив первого курса, что не помешало нам потом встречаться в СПб.

Когда я приехал *практически студентом* к своим товарищам – которым предстояли следующие экзамены – Леша почесал бороду и сказал Саше, кивнув в мою сторону:

– *Слушай, давай ему п***ды дадим ? Он слишком веселый, а нам еще пидараситься*!

Женский половой орган в тот день пролетел мимо; мы выпили принесенное мною шампанское, а потом друзья стояли в загаженной кухне, чтобы послушать веселый грохот бутылки, пущенной мною в мусоропровод с последнего этажа…

3

Писать о Литературном институте может каждый, проведший в его стенах хоть один семестр.

* * *

Мнения об этом замечательнейшем из учебных заведений диаметрально противоположны.

Одни видят в нем обитель муз, а выпускников считают небожителями.

Другие говорят, что это Литинститут – это притон пьяниц и развратников.

Что могу сказать я, проведший не просто в институте, а конкретно в общежитии на улице Грибоедова – истинном притоне пьяниц и развратников! – шесть сессий, в общей сложности полгода своей жизни?

Отвечу сценой из старого фильма, название которого уже позабыл.

* * *

Сюжет заключался в том, что некое нескромное шоу (или какой-то театр соответствующей направленности!) устроило конкурс на замещение вакантных мест.

Работа там предполагалась в общем непристойная.

Объявление же в городской газете было столь завуалированным, что наивные читательницы могли подумать, будто речь идет о чем-то возвышенном, почти *на люстре*.

Одна из таких претенденток – не по возрасту добропорядочная девушка (кажется, даже в круглых очках!) – пришла на собеседование и секретарша провела ее в комнату, где проводился отбор.

Последний заключался в том, что менеджер смотрел на раскиданные по полу бельевые гарнитуры (комплекты из цветных лоскутков на веревочке). И оценивал, будет ли впору новенькой один из имеющихся лифчиков.

Когда он поднялся с кресла и приложил к млечным буграм очкастой девушки *бра*, показавшееся ему подходящим (через свитер!), та отпрянула со словами:

– *У вас тут что? Конкурс или бордель?!!*

– *Конкурс*,

– ответил будущий босс.

– *Но в борделе*.

* * *

Почти так в «Девушке с печи» я охарактеризовал Литинститут, назвав его общежитие обителью *муз, пьянства и разврата*.

Разумеется, наша *литобщага* не была институтом в целом, но она с предельной точностью характеризовала саму ауру, в которой учились будущие художники слова.

4

Что касается *пианства*, то по этому поводу я имею твердо оформленное мнение: ведь сам много лет провел в грехе, лишь полтора года назад – по причине общего оскудения – пополнив ряды трезвенников.

* * *

Мой великий дед Василий Иванович Улин…

(Именно Василий Иванович, о чем постоянно напоминал дядя Костя – водопроводчик моего детства – приветствовавший его во дворе с хрестоматийной точностью:

– Василий Иваныч! Белого привезли!)

Мой великий дед – партийный работник союзного масштаба – всю жизнь прожил пьяницей.

До войны он не раз и не два сидел за столом с самим Кировым; великого любителя жизни мой дед перепивал в два счета по причине молодости.

Сергей Миронович принимал дозу и отстранялся; Василий Иванович выпивал еще стакан и шел плясать на голове: этот акробатический номер был его коронным трюком.

Во время войны дед занимал ответственные должности.

(Настолько ответственные, что однажды – будучи человеком гражданским! – получил табельное оружие для защиты от диверсантов и врагов народа.

Но из-за своей сугубо гражданской сущности не умел даже по-нормальному хранить пистолет.

Носил его в заднем кармане брюк и однажды попал в нехорошо пахнущую историю с туалетом системы «*выгребная яма*». Предвосхитил подвиг капитана Якименко из гениального сериала «Ликвидация».)

Мой дед возглавлял город Черниковск (ставший северной частью Уфы) – важнейший оборонно-промышленный центр, содержавший несколько нефтеперерабатывающих предприятий и завод авиационных двигателей генерала Климова (ими оснащались истребители «*Як*», самые массовые на войне). Все вопросы, связанные со снабжением энергоносителями, он решал по телефону «*ВЧ*» с самим Лаврентий Павловичем Берией: страшный руководитель *НКВД* «*курировал*» тяжелую промышленность.

И, кроме того, В.И.Улин был вторым секретарем Башкирского обкома ВКП(б). Проведя весь день в заботах, напоминающих рытье ямы в песке, вечером он ехал в обком (примерно на 60 км в южную сторону), где вынужден был просиживать до последних звезд в ожидании звонка Сталина, который любил ночные совещания по московскому времени (отстающему от уфимского на 2 часа).

Вернувшись домой под утро, дед выпивал бутылку водки – без которой не мог отключиться – и падал спать на несколько часов, чтобы с утра начинать все то же и по той же схеме.

Бабушка Прасковья Александровна Хабарова всю жизнь боролась с дедовым пьянством, однако говорила и не раз и не два:

– Дурак не пьет!

Словами этими она хотела подчеркнуть, что *умный* человек может оказаться в таком состоянии, когда лишь водка способна привести его в чувство.

* * *

Примерно то же самое, хоть и другими словами, говорил старый Хэм устами героя уже не помню какого из своих романов:

– Стоит только чуточку выпить, как все становится почти таким, как было прежде.

Этой фразой грустный писатель обозначил причину пагубной страсти, снедающей любого остро чувствующего человека.

А художник – будь он хоть живописцем, хоть писателем, хоть музыкантом! – человек именно *остро чувствующий* и нуждающийся в периодическом забытье.

* * *

Великий башкирский писатель, поэт и прозаик Мустай Карим (в миру Мустафа Сафич Каримов) рассказывал мне, как они с моим дедом ездили в Москву на сессии Верховного Совета РСФСР, где были депутатами одного созыва.

Дед с поэтом занимали купе в вагоне *СВ* и по дороге до Москвы выпивали ящик коньяка.

Это было именно так, хоть и кажется невероятным.

Мой личный рекорд состоялся всего лишь раз, когда по дороге из Москвы в Уфу на скором поезде №40 «Башкортостан» мы с соседом по купе – татарином, бывшим прапорщиком из охраны Брежнева – выпили 8 бутылок водки.

Разумеется, в наши дни состав тянется электровозом и весь путь занимает 36 часов.

Но и с учетом паровозных скоростей, достижения двух друзей-депутатов ошеломляют.

Мустай Карим пил, пока мог, что не помешало ему жить долго и до конца дней радовать читателя новыми произведениями.

* * *

Так было и в Литинституте.

Будущие властители душ пили не от безделья и *не только* благодаря вседозволенности.

Прежде всего ими владела априорная, имманентная тоска художника, видящего в жизни то, что скрыто от глаз обывателя.

Хотя и в *литобщаге* повальному пьянству предавались далеко не все и не в равной мере.

(Степени чудесного занятия когда-то обозначила моя бабушка, виртуозно владевшая русским языком.

Согласно ее принципам, градации привязанности к спиртному шли по возрастающей:

– *пить не пьет, но мимо не пронесет* (латентная форма алкоголизма);

– *выпивоха* (пьянство средней степени) ;

– *пьяница* (высшая мера, сейчас аттестуемая алкоголиком).

В той же литобщаге были люди непьющие.

Например, мой талантливый друг Валера Роньшин, ныне известный детский писатель из Санкт-Петербурга, всем предпочитал кефир.

* * *

Я в Литинститутские времена еще не дорос даже до *мимонепроносящего*.

Уже позже, когда моя жизнь – личная, творческая, профессиональная и социальная – пошла вразнос, я быстро поднялся до вершины.

С нее спрыгнул без труда, но без радости: лишенная искусственного притока эндорфинов, жизнь сделалась равномерно серой.

Сейчас она напоминает снимок, к которому кто-то применил Фотошопскую команду «*обесцветить*».

* * *

Но все написанное выше к Литинституту отношения не имеет.

Написал я это лишь для того, чтобы донести до вас две вещи.

Во-первых, пьянство для художника столь же естественно, как озеро для водоплавающей птицы.

Во-вторых, не все птицы водоплавающие; некоторые живут на суше и ничуть тем не тяготятся.

* * *

А завершу я главку цитатой из дневника писателя Юрия Нагибина:

…в России тронуть пьянство, значит, убить литературу.

5

Что касается *разврата*, я выскажу глубоко прочувствованное мнение.

* * *

Человек – не марсианин и не электронный гаджет, его образ поведения диктуется *тремя* основными инстинктами.

Напомню их, не будучи уверенным в читательских знаниях.

Первый – инстинкт сохранения жизни, второй – пищевой. Они диктуют живому существу правильный образ поведения для собственной сохранности.

Третий – инстинкт *продолжения рода* – направлен не внутрь, а наружу.

Он связан с необходимостью всего вида, а каждым отдельным представителем движет удовольствие, заложенное природой в *процесс*.

У человека 3-й основной инстинкт формирует *либидо*, то есть сексуальное влечение.

Я беру смелость утверждать, что именно либидо – и только оно! – является двигателем любого творческого процесса.

* * *

Урожденный художник начинает творить в период своего биологического созревания, хотя позже может казаться, что им движут иные чувства.

Не буду углубляться в психологию проблемы, о том написано уже много и гораздо квалифицированней.

Подчеркну лишь, что истинное искусство всегда *чувственно*, поскольку основывается на чувствах.

Причем сказанное относится к искусствам всех видов и всех направлений.

* * *

Быв в свое время живописцем и графиком, отмечу, что сильнее всего чувства проявляются в изобразительном искусстве.

По-настоящему сильные полотна с обнаженной натурой писали только художники-мужчины.

Единственной художницей другого пола, оставившей после себя экспрессивные женские «*ню*», является Зинаида Серебрякова. Но она была лесбиянкой и относилась к своим моделям с нетрадиционной, но реальной чувственностью.

Аналогичным примером роли полового влечения в живописи служит гомосексуалист Константин Сомов, не написавший ни одной обнаженной женской натуры.

Когда кто-то утверждает, что *нельзя возжелать Венеру Милосскую*, я с этим человеком даже не спорю; мне становится просто смешно.

У древних греков – этих *детей цивилизации* – чувственная основа искусства видна в любой скульптуре.

Не возжелав *модель*, скульптор не смог бы создать Венеру – с этим вряд ли кто будет спорить.

Но я скажу большее: в процессе работы художник начинает испытывать желание и к своему творению.

Это может показаться диким человеку, *не являющемуся художником*, но это именно так.

Миф о Пигмалионе, возжелавшем изваянную Галатею, имеет под собой реальную основу.

Желание, владевшее скульптором, остается в статуе на века и тысячелетия.

Однажды в молодости мне пришлось провести долгое время в ситуации, когда единственной женщиной у меня была копия Венеры Милосской.

Той самой, которую якобы *нельзя* возжелать.

Долгие часы я проводил над ватманом, набрасывая ракурсы древней гречанки – и при этом мною владело такое *плотское желание* к статуэтке высотой 50 см, какое я редко испытывал к женщинам из плоти.

О нескромных порывах, обуревавших меня, свидетельствует десяток сохранившихся карандашных рисунков.

И каждый из них, подпитанный моим желанием, перешедшим от скульптора через копию его работы, пышет жаром истинной чувственности.

О чем говорит обложка мемуара «Тропа на вершину Олимпа».

* * *

Возвращаясь к искусству слова, подчеркну, что большинство поэтов начинает свой путь с любовной лирики.

Причем, как правило, толкает их либидо неудовлетворенное.

Но не перешедшее – согласно терминологии Зигмунда Фрейда – в стадию *деструктивной компоненты*, а полное конструктивности и приводящее к результату.

* * *

Рожденный поэтом, я пережил за 40 лет стихотворчества несколько этапных периодов, и все они были основаны исключительно на либидо.

Точнее, я всю жизнь находился в состоянии патологической влюбленности в какую-то женщину.

(Подробнее о том сказано в мемуаре «В то лето шли дожди…», основанном на теплых воспоминаниях о женщинах в моей жизни, здесь приведу лишь опорные тезисы.

В 1976 году, оканчивая свой последний 10-й «*Б*» класс я испытал первую школьную любовь – к девочке по имени Ирина, учившейся в 9-м «*А*». И тогда впервые начал писать стихи.

В 1979 я влюбился в Анну, свою университетскую преподавательницу по философии (конкретно – по диалектическому материализму). Благодаря ей приобщился к современной русской поэзии и перешел на другой уровень.

В 1980 познакомился с будущей бывшей женой Натальей (не *Н.*) *Г*. Написал несколько стихов, полных принципиально новых мыслей.

В 1992 году томился неразделенностью к чужой жене по имени Ольга. Результатом оказался ряд стихов и 4 классических сонета – лучшие произведения моей любовной лирики.

Подчеркну, что все упомянутые случаи были именно *патологическими*, поскольку относились к страсти *нерезультативной*. Этот факт подчеркивает и то, что даже к своей будущей жене *Н.Г.* я писал стихи лишь до тех пор, пока не достиг результата.

А женщины, которыми мне *удалось* обладать, не оставили после себя ни строчки.

Наверное, в том и состоит великая роль либидо в творчестве художника.

* * *

В своей жизни я знал одного живописца, Народного художника СССР и величайшего мастера из местных, которого знал с детства (он был мужем маминой одноклассницы) и звал *дядей Сашей*.

Этот дядя Саша всю жизнь до последних минут курил, как паровоз и пил, как бочка без дна.

А в отношении любострастия был таким, что Распутин рядом с ним показался бы церковным служкой.

Он любил жизнь, любил женщин – всех без разбору – и эта всепоглощающая любовь вела его от картины к картине.

В прежние годы я ему ужасался, в нынешние – понимаю, как никто.

* * *

На закате жизни я уже не сомневаюсь, что художник жив лишь до тех пор, пока у него *в крови горит огонь желаний*.

Если же у него ничего не горит и даже не дымится, то он мертв, будь хоть 20-ти лет от роду.

* * *

Роль либидо в творчестве художника *первостепенна*.

О том напоминают и обложки, разработанные мною для каждого из мемуаров этой книги.

В публикуемом варианте есть лишь обложка всей книги (которой снабжено и одноименное предисловие «Литературный институт»), где сидит, заняв все поле длинными ногами, неизвестная женщина из Интернета.

В интернетском варианте оригинальной обложкой снабжен каждый мемуар.

Один знакомый литератор сказал мне, что *нельзя* оформлять тексты о Литинституте картинками подобного рода.

Я же ответил, что именно такими иллюстрациями не только *можно*, но и *нужно* создавать ту чувственную ауру, без которой полноценное художественное творчество невозможно в принципе.

И эта аура, по моему глубокому убеждению, является главной в образе учебного заведения моей второй молодости.

* * *

Все изложенное приведено в оправдание тех моих сокурсников, художников слова, которые погрязали в чудовищном – с точки зрения обывателя! – разврате.

То был не разврат, а *удовлетворение чувственности*, требующей выхода.

Особенно понятной с биологической точки зрения.

Ведь из всех живых существ моногамны только некоторые птицы.

Человек же, хоть и научившись летать, птицей не сделался, а остался говорящим млекопитающим.

* * *

И опять завершу апологетическую главку высказыванием Юрия Нагибина:

…я блудил каким-то первородным грехом…

6

Теперь можно перейти к главной компоненте Литинститутского бытия – *музам*.

Подчеркну, что – порезвившись вдоволь! – теперь я говорю по существу.

Цитируя Готтфрида Ленца из «Drei Kameraden», здесь

я серьезен, как на кладбище.

* * *

Относительно этих самых – выдуманных кем-то и когда-то – *муз* все кажется понятным.

Ведь при любых условиях творческий конкурс не могли пройти люди совсем уж бездарные.

Но сам учебный процесс имел результат далеко не обусловленный.

* * *

Возможно я неправ.

Не исключаю, что на дневном отделении учили по-другому.

Допускаю и то, что в дни моего студенчества все уже пришло в упадок в силу распаду СССР и начавшейся гибели самой литературы как явления общественного сознания.

Но нас *не учили ничему и никак*.

Лекции читались вроде бы нормально, практические занятия велись по всем правилам – но все уходило в воздух. Ни один преподаватель не требовал ничего конкретного, знания контролировались на нулевом уровне.

Отчисляли только тех, кто накопил «*хвостов*» за несколько сессий и перестал подавать признаки жизни – за исключение редчайших случаев, когда студент представлял собой полный человеческий отброс, каким показан тот самый Слава в «Девушке».

Правда, лично я учился с большим удовольствием.

Первое высшее образование далось мне с трудом (хоть и вылилось в «*красный*» диплом, аспирантуру, диссертацию кандидата физико-математических наук…)

На мат-мех факультет ЛГУ я поступил по принуждению своей мамы Гэты Васильевны Улиной, кандидата наук и выпускницы того же факультета. Математику (не походившую реально на ту науку, за успехи в которой школьные учителя были готовы поставить мне золотой памятник при жизни) я никогда не любил. Учиться мне было и трудно и скучно. Я тратил все

силы, остающиеся после сочинения стихов, занятий живописью и графикой, игры на кларнете и бальных танцев. До сих пор – через тридцать лет! – матмеховские сессии мучат в кошмарных снах. Учеба так меня выматывала, что (несмотря на перманентную влюбленность то в один то в другой ненужный объект) даже мужчиной я стал только в 24 года. В возрасте непозволительно неюном, потеряв минимум 6 лет полноценной жизни…

Поэтому первую студенческую часть своей биографии я вспоминаю *только с проклятиями*. Во всех ее сферах, хотя здесь вспомнил лишь об учебной.

В Литинститут же я поступил по своей воле и учился для себя.

(Об отдаче говорят мои старые письменные работы, входящие в эту книгу.)

Но тем не менее я чувствовал, что и качество процесса и его результат были безразличны всем, кто меня учил.

За все пять лет на меня всего лишь раз наложили епитимью, приказав прочитать к госэкзамену роман Некрасова «В окопах Сталинграда».

Книгу я прочитал за день, проведенный в жутком сидячем поезде «Санкт-Петербург – Москва» – на пути от уже почти бывшей первой жены, к которой ездил из Москвы во время сессии.

Но на госэкзамене отказались слушать мои мысли об окопах, а молча поставили «*тройку*» за не слишком уверенное знание од Державина – утративших свое значение произведений весьма среднего по всем параметрам стихотворца.

* * *

Но теперь, спустя годы, я начинаю думать, что мое заочное образование оказалось более серьезным, нежели то, что получали студенты дневного отделения.

Ведь им в течении 10 полноценных семестров давали разжеванное знание с чужих слов.

А я учился по книгам (информация от установочных сессий была ничтожной!) и писал многочисленные контрольные работы, доходя до каждой ступени познания самостоятельно.

* * *

Правда, стоит подчеркнуть и описанное во «Вкусе помады» явление не слишком положительное.

* * *

Учась четыре года на одни «*пятерки*», на последнем курсе я ощутил такую усталость от суеты (ставшей очевидно бесперспективной), что спустил рукава.

Хотя причиной моего *наплевания* на конечный результат можно считать и упомянутый в «Девушке» результат защиты диплома, которой началась последняя весенняя сессия.

В качестве дипломной книги я представил *женский* (то есть имеющий героинями женщин и затрагивающий проблемы слабого пола) сборник из повести «Зайчик» и нескольких рассказов. Мой творческий руководитель эту работу принимать не хотел, пытался вытолкнуть меня на защиту с тем же «9-м цехом» – хотя отсутствие динамики говорило бы прежде всего не в пользу его как *руководителя*.

Я настоял на своем «Мельничном омуте», но руководитель на защите набрасывался на меня хуже рецензентов – что мне (имевшему к тому времени опыт и всегда защищавшему своих дипломников до последнего патрона!) показалось совсем из ряда вон выходящим.

В результате я получил «*четверку*» (хотя рассчитывал как минимум на немедленный прием в СП), второй «*красный*» диплом отпал.

Мы с Колей Бавриным пошли в ближайшую закусочную и выпили вдвоем 4 (!) бутылки сухого вина по 0,7 л.

Путь наш до метро прерывался около каждой подворотни (общественных *заведений* на том пути не нашлось), а потом я буквально «*забил*» на остальные этапы государственных испытаний.

7

Сам того не желая, я затронул больную тему: литинститутский семинар.

* * *

О нем чуть веселее написано в «Девушке», здесь скажу коротко, что *творческий семинар* был элементом учебного процесса, отличающим Литературный институт от обычного филологического факультета.

Помимо обязательных предметов (стилистики, языкознания, русского языка, мировой и русской литературы во всей антологии) мы должны были развивать свои таланты на семинарах.

Где писали произведения по заданной тематике, обсуждали друг друга и *как бы* оттачивали мастерство под *руководством* руководителя.

Увы, с семинаром мне не повезло в корне – примерно так, как с уфимским литобъединением при «*Ленинце*»

* * *

Конечно, для успокоения мне стоит обвинить себя самого.

Сказать, что в те годы я был глуп, незрел, негибок и так далее.

Но кто, где и когда видел *гибкого художника*?

Поэта, не считающего свои рифмы удачнейшими на свете – или прозаика, не гордящегося единственными в своем роде сюжетными ходами?

Все мы, поступившие в Литинститут, были разными. Стоявшими каждый на своем пьедестале и смотрящими свысока на всех прочих.

И задача руководителя творческого семинара заключалась не в том, чтобы сбить каждого на землю, а чтобы укрепить фундаменты этих самых пьедесталов.

Ведь если человек не считает себя центром мира, он никогда не сможет достичь серьезных успехов ни в чем вообще.

Во всяком случае, на другом прозаическом семинаре нашего потока дело обстояло так, как должно было обстоять.

Там кипели страсти, но некоторые сделались писателями.

Приходят на память Аня Дубчак – моя любовь не только не первом, но и на втором курсе – и Валера Роньшин – друг поздних времен.

Из нашего семинара профессиональным литератором *не стал никто*.

* * *

Наш руководитель, видный советский писатель Олег Павлович Смирнов, был талантливым прозаиком и хорошим человеком.

О последнем говорит хотя бы тот факт, что после выпуска я несколько лет продолжал переписку с ним.

Олег Павлович возился с нами изо всех сил.

Пытался наставить на путь истины.

Протолкнул нас с Колей в журнал «*Октябрь*», где работала его дочь.

Позже дал мне рекомендацию в СП.

И так далее.

Но семинар, набранный им по результатам творческого конкурса, не дал ничего хорошего ни одному из нас.

Наш творческий семинар был *бардачным* во всех смыслах ёмкого русского слова.

Я даже не помню, с кем начинал там в 1989 году и с кем окончил в 1994: люди менялись непрерывно, откуда-то восстанавливались и куда-то исчезали, мало кто задерживался дольше, чем на пару семестров, и никто не оставил следа в душе.

Из поступивших со мной выпустились 3-4 человека, писателями из них могли считаться только Коля Баврин и Улдис Сермонс.

О них со всей теплотой я писал в «Девушке с печи №7».

Да и те канули в Лету: Улдис по окончании Литинститута бросил и выпивать и писать, а Колины следы потерялись во мраке.

Старостой семинара назначили человека, которого я – будучи в должности командира части – не сделал бы даже ротным старшиной.

Как литератор он был даже не нулем, а «*минус единицей*».

Бездарный и тупой, борец с отшибленными мозгами боксера, с ужасающим южным выговором и корявым языком (становившимся хуже год от года), он сталкивал нас в бессмысленных спорах. В которых, вопреки заштампованному мнению, истина не рождается, а может лишь укрепиться взаимная неприязнь.

Меня староста возненавидел с первого взгляда.

Это напоминало уже испытанное когда-то от бригадира в ГДР (и описанное в романе «Умерший рай»).

Всю жизнь, пользуясь успехом в кругу нормальных людей, я терпел унижения от быдла.

За все свои качества, вплоть до умения носить костюм с галстуком и выражаться на безупречном языке.

* * *

Да, признаюсь.

Владение русским языком является для меня главным критерием оценки человека.

Говорящего (даже в шутку!) «*чо*?» – «*ничо*!», «*полОжьте*» – «*айдате*» мне хочется убить одним ударом.

Начав свой путь как поэт, я и в прозе стремлюсь к недостижимому совершенству именно *языка*.

А в поэзии – к которой обращаюсь по сю пору! – работаю над каждым звуком и каждым знаком препинания.

Не говоря о иных приемах.

Например, в стихотворении «Александру Вертинскому» я поставил в финал две строки особого звучания.

(Эти строки возникли как иррациональный отклик на малоизвестную песню великого автора-исполнителя, а остальные три с половиной строфы были достроены на их фундаменте.)

Вот как звучит то, что родилось само собой:

Лишь стоит Ваш серебряный тополь
У Кремлевской суровой стены…

По правилам русского языка порядок эпитетов произволен, а прилагательное «*кремлевский*» может писаться как с прописной, так и со строчной буквы.

То есть допустимо было сказать, что некий серебряный тополь стоит просто у суровой кремлевской стены.

Но такой вариант потерял бы выразительность.

Ведь он описывал бы стену, о которой говорится, что она просто суровая и абстрактно кремлевская, и допускает еще десяток вариантов: красная, кирпичная, старая, высокая… И все это не выражало бы ничего конкретного и не создавало бы *художественного образа*.

А моя строчка рисует стену Кремля (единственного в России!) и именно *суровую*.

Ведь речь идет о надгробном памятнике Сталину, которого поэт при жизни сравнил с серебряным тополем.

* * *

Одно время я занимался переводами песен.

Причем всегда стремился к точному воспроизводству ритмики оригинала.

Переводил с немецкого – что было делом не слишком сложным, поскольку язык избыточен и оставляет простор для подбора русских слов.

Вариант старой немецкой песни «Если солдаты городом шагают» получился неплохим.

Переводил (по подстрочнику) с иврита.

Например, «Кахоль ве лаван» о бело-голубом флаге Израиля.

Я очень люблю этот птичий язык .

Люблю за фонемы «*оль*», «*эли*», «*эли*», «*ало*», создающие непередаваемое ощущение легкости.

Хотя перевод с иврита труден: язык не имеет артиклей и прочих вспомогательных элементов, а слова очень короткие.

И втиснуть их смысл в русский эквивалент столь же трудно, как поместить грудь 50-летней женщины в подростковый бюстгальтер,

* * *

Мысли о языке как средстве литературной выразительности вызвали неожиданно сильные образы.

Например, язык нелюбимого мною Андрея Платонова всегда напоминал мне рвотный порошок.

А когда меня пытаются убедить в том, что Платоновский стиль – нечто церковнославянское, литургическое и так далее, я возражаю так:

Церковнославянский язык похож на воду из торфяного болота: он черный, но чистый и прозрачный.

* * *

Но вернемся к моему семинару.

* * *

Староста – духовный люмпен – травил не одного меня; он сталкивал лбами всех.

Наши семинары не являлись разумным обсуждением плюсов и минусов а шли на уровне драк подушками в пионерском лагере. Хотя подушки порой были набиты весомыми камнями.

Стыдно вспоминать, но я однажды поименовал рассказ Улдиса – прибалтийский, отстраненный и демонстрирующий все сквозь стекло – описанием того, как *резиновую женщину удовлетворяют фаллоимитатором.*

После той глупой эскапады мы с автором не разговаривали до следующего утра.

Правда, на последних курсах тот ничтожный борец по ряду причин ушел не только из старост, но из института. Однако замена его умным Колей Бавриным уже не могла ничего изменить.

Мы привыкли идти на творческий семинар не как на конструктивную встречу коллег по цеху, а как на бой каждого с каждым, одного со всеми и всех против одного. На бой, где оставалось встать спиной к стене и отбиваться с закрытыми глазами.

С этой точки зрения творческий семинар в Литинституте не привнес ничего положительного в мою литературную судьбу.

* * *

Сейчас мне все-таки кажется, что в Литинституте – равно как и в уфимском *ЛитО!* - в своих неудачах на 90% я был виноват сам.

В те годы я оставался неуживчивым максималистом и мало кто из наставников мог разглядеть во мне писателя, терпеть мои бесконечные выверты и наставлять ненавязчиво, но всерьез.

Вместо того, чтобы посмотреть на себя со стороны, я сражался со старостой, как Иаков с ангелом.

Не осознавая бессмысленности борьбы, поскольку плечистому идиоту отпустил поводья сам господь бог – руководитель нашего семинара.

Но таким был не один я…

Я уже писал, что результат семинара оказался нулевым и для моих коллег.

То есть в бессмысленности творческой учебы *одной лишь* моей вины нет.

8

Последний факт особенно ясен и потому, что тогда я вел параллельную жизнь в писательских кругах Санкт-Петербурга.

Ведь не зря я назвал мемуар именем поезда, соединявшего два города моей молодости.

* * *

Чего стоило мое знакомство с Ией Гаврииловной Яблошниковой – мамой подруги моей первой жены!

Ия Гаврииловна принадлежала к ушедшему поколению писателей-интеллигентов, общение с которыми всегда несет тихую радость душе.

Не говоря уж о тех знаниях, которыми эта замечательная женщина дарила меня как бы походя – сидя в глубоких кожаных креслах среди ласкающих взор линий «*либерти*», сохранившихся в ее квартире от серебряного века русской культуры…

(Тогда все это казалось естественным и единственно приемлемым для жизни.

Сейчас, агонизируя в бездуховности нынешнего окружения, я уже не верю, что такое было со мной.)

Помню, как однажды мы беседовали о классической русской литературе, и она сказала такие слова:

– Чехова я люблю, он очень умный. Но уж больно злой! Насаживает человека, как жука, на булавку, и рассматривает со всех сторон.

Теперь я понимаю, что такая характеристика обожаемого мною Антона Павловича как нельзя лучше описывает его натуру.

* * *

Уже упомянутый первый роман с пафосным названием «И буду жить я, страстью сгорая» я отнес в редакцию журнала «*Нева*», находившуюся в начале Невского проспекта, около здания *Ленэнерго* (где главным инженером в те годы был Борис Иванович Рылов, муж бывшей маминой одноклассницы, вышедшей замуж в аспирантуре ЛГУ) – напротив Лавки художников, моего любимого кафетерия и трикотажного ателье «*Смерть мужьям*».

Как ни странно, огромный даже не кирпич, а бетонный блок *единственного* экземпляра рукописи не пропал в редакционных коридорах.

Его внимательно прочитал Ленинградский писатель Владимир Ольгердович Рекшан.

Потом он провел достаточно много времени, указывая на слабые места романа и отметив сильные моменты.

Тогда, конечно, критикой я был раздосадован; я рассчитывал на немедленную публикацию своего произведения.

Возврат рукописи вызвал чувство обиды, но в целом редакция журнала «*Нева*» показалась доброжелательной, и я сам не заметил, как стал туда ходить часто и просто так.

Именно *часто*: ведь защитив диссертацию 25 декабря 1984 года и уехав работать в Уфу, я не порвал связи со своей невестой-ленинградкой.

А женившись в декабре 1985, стал наезжать на Неву по 4-5 раз за год, благо цены на авиабилеты позволяли жить на два дома.

* * *

В «*Неве*» я познакомился с редакционным литконсультантом Валерием Прохватиловым.

До сих пор помню сентенцию, вложенную им в уста одного из героев:

*– Все на свет г***но, кроме мочИ*!

* * *

И там же я узнал талантливого прозаика и замечательного человека Валерия Петровича Сурова.

* * *

С *Петровичем* мы стали настоящими друзьями – даром, что он был старше меня на 15 лет.

(Отклоняясь от темы, вспоминаю, что именно он повез меня в роддом получать дочку, первого ребенка в первом браке.)

Суров стал моим литературным крестным отцом.

В Ленинградском отделении СП СССР он работал с молодыми прозаиками.

Для меня Петрович сделал больше, нежели *все остальные вместе взятые.*

Именно Валерий Суров – *Суров, Суров и еще раз Суров*! – вылепил из меня писателя, закалил и выпустил в жизнь.

Мы встречались ним по несколько раз в каждый приезд.

Я ходил на заседания секции молодежной прозы в особняк Дома писателей (находившийся поблизости от *Большого дома* – так называли ленинградцы здание КГБ, прибегая к опасливому эвфемизму).

Я много раз бывал у него на квартире, где мы сидели с кем-нибудь из гостей-писателей и тихонько выпивали.

* * *

До сих пор перед глазами стоит Петрович тех лет.

Невысокий и крепкий, обманчиво жизнерадостный, но всегда прячущий под черными усами грустную улыбку человека, познавшего жизнь со всех сторон (сменившего несколько профессий вплоть да шахтерской!) и повторявшего мантру:

– Нужно или жить, или писать!

Зрелый мужчина в расцвете сил, имевший по ребенку от каждой из своих молодых жен.

Но говорившей о себе с тем печальным юмором, который ко мне пришел лишь недавно:

– Помнишь, у Толстого где-то – «В дверях стоял старик лет сорока»? Так вот я и есть тот самый старик сорока лет.

Подчеркивая, что настоящий художник всегда полон невеселой мудрости, поднимающей выше реального возраста.

* * *

Хотя биологический возраст не значит ровным счетом ничего.

Умный человек умен всю жизнь, а урожденный дурак с годами становится только дурнее.

* * *

Я участвовал в совещании молодых писателей Ленинграда: мои произведения никогда не страдали провинциальностью и могли быть приняты в любом городе.

В Лениздатском сборнике «*Точка опоры '90. Повести и рассказы молодых ленинградских прозаиков*» (под редакцией моего товарища Ильи Бояшова, ставшего в 24 года самым молодым членом СП СССР после того IX Всесоюзного совещания) с рассказом «Конкурс красоты» я был указан как ленинградец.

И не потому, что сцена действия казалась ленинградской.

Ленинградцем я был по духу, наполовину по рождению: моя мама родилась в замечательном городе и была эвакуирована первой военной осенью в возрасте 10 лет.

В Ленинграде прошли успешные годы писательства.

Этот город играет важнейшую роль в моей художественной жизни, потому-то и возникло название мемуара.

* * *

А чувство глубокой благодарности, оставшееся к Валерию Петровичу Сурову, побудило меня выбрать его «Зал ожидания» темой контрольной работы №2 по текущей советской литературе в 1991 году.

9

Но вернемся к тому самому главному, чего я ожидал от Литинститута, помимо классического курса филологии.

* * *

Если судить объективно, учеба не дала моему творчеству ничего положительного.

Как я уже писал, поступил я в Литинститут с повестью «Девятый цех».

За пять лет написал в пух раскритикованного и неимоверно популярного «Зайчика».

Были и рассказы:

– «Ваше величество женщина» – по творческому заданию на тему «*Женщина*», взамен не принятого Олегом Павловичем «Зайчика»;

– «Мельничный омут» – по заданию «*Классик*», ставший одним из лучших;

– «Платок» – под влиянием предощущения конца, охватившего в больнице;

– «Погребение» – уже не помню, по заданию или самостоятельно;

– «Триста лет» – опубликованный в №12 журнала «Октябрь» за 1992 год.

Уже не помню, когда и как написаны еще несколько рассказов того периода:

– «Галицийские поля»;

– «Долг»;

– «Красная кнопка»;

– «Ночь»;

– «Победа»;

– «Рассказ без названия»;

– «Саламандра»;

– «Экспроприация».

(На данный момент в моем портфеле имеется всего 25 рассказов классического направления.

Но отношение к ним очень серьезно и писал я их не шутки ради; над каждым из них я работал, как над романом.

Хотя и не все они дотягивают до *маленьких романов*, как аттестовали литературоведы глубочайшие по содержанию и лаконичные по форме произведения одного из моих любимых писателей, мудрого эстонца Энна Ветемаа.)

В литинститутские времена написал я и страшную повесть «Вина».

Но ее ждал полный провал.

Я ожидал, что Олег Павлович (бывший фронтовик, автор нескольких военных романов и сценария к фильму «Государственная граница») поможет мне прописать эпизоды из жизни разведроты.

Но мой руководитель разгромил мою патетическую повесть так, что я не прикасался к ней несколько лет.

Хотя сейчас эта вещь не мне одному кажется удачной.

* * *

Если судить со стороны, учеба в Литинституте *отвратила меня от писательства.*

Получив диплом в 1994, я не только не написал ни строчки, но даже не заглянул в свои прежние произведения до 2002.

Молчал – как легендарный Юрий Олеша – почти 10 лет!

Этот факт видится оценкой результату моего второго высшего образования и эффективности нашего творческого семинара.

Но сейчас мне кажется, что *не все так просто.*

* * *

Некоторые мои сокурсники – прозаики из второго семинара (которым руководил Владимир Орлов, автор известного в романа «Альтист Данилов») – начали печататься еще в Литинститутские времена.

Пишут и публикуются они по сю пору, но…

В их творчестве я не вижу *динамики*; начав писать студентами, они так студентами и остались.

Хотя и оказались востребованными в наш обескультурившийся век.

А я несколько лет *развивался на собственной основе* – как социализм в последние годы застойной эпохи.

Результат пришел и он кажется бесспорным.

* * *

И теперь я вижу, что Литинститут все-таки принес мне пользу.

* * *

Человека нельзя научить, как надо писать – но вполне можно объяснить, как *писать не надо.*

10

Но пора вернуться к городам, упомянутым в заголовке.

Ведь они представляют главные места моей жизни.

* * *

Про Санкт-Петербург (то есть про *Ленинград* моих лучших лет) здесь подробно писать не буду.

Отмечу только, что этот город своеобразен по самой своей природе.

Он родился искусственно, выстроенный Петром по линейке.

Причем точкой отсчета служила тюрьма – Петропавловская крепость – что характерно для России

Лишь в XIX веке Петербург слегка очеловечился, разрастаясь естественным образом по окраинам.

Правда, «Санкт-Петербург» сегодняшний смотрится нормально в ряду других европейских городов.

Но центр его – сердце города, откуда начинается знакомство с северной столицей – остался прежним, не считая современных вывесок.

* * *

Первым моим впечатлением от Ленинграда (когда я приехал туда с мамой школьником в 1973 году) было то, что это город *холодный*.

Холодным он и являлся, в чем я убедился, прожив на Невских берегах 8 лет, с 1976 по 1985.

Ленинград был не только холодным, но и сырым (250 дней в году я ходил с мокрыми ногами…) и тусклым (300 дней там висели тучи).

Безбашенный Петр построил его в самом гиблом месте Европы – где не селились даже *убогие чухонцы*.

Замостил болото костями подданных, а сам не ощущал неудобств, вечно пьяный и окутанный табачным дымом.

Впрочем, о том говорилось многими авторами.

Я хочу сказать иное.

* * *

Ленинград на первых порах казался для меня *холодным* как *живое существо*, принявшее облик города.

* * *

Постепенно он раскрылся и я его полюбил, но…

Но эта любовь мало подпитана *человеческой чувственностью.*

Той самой, которая проистекает из личных опытов молодости.

А эти *опыты* с Ленинградом были связаны очень сильно.

Ведь именно в этом городе я познал 4 своих женщин – включая первую – испытал 4 любови и 16 увлечений разной степени глубины.

(Отмечу, что эти три градации *не пересекаются*; я вспоминаю разных женщин в зависимости от степени достижений: первой своей женой я сначала был увлечен, затем в нее влюбился и только после этого ее познал.)

Но в воспоминаниях о Ленинграде-Петербурге я вижу не этих женщин.

* * *

Отвлекусь на еще один факт.

В Уфе я познал 30 женщин (из которых 1 была *активной лесбиянкой*) перенес на себе 5 любовей (включая 3 неземных!), а число увлеченностей не поддается оценке – помню лишь то, что в 15 из них контакт не ограничивался поцелуями, а в 4 не мешала одежда.

Но Уфа не оставила приятных воспоминаний.

* * *

Возвращаясь к Ленинграду, отмечу, что он ассоциируется у меня лишь с ощущениями от *самого города*.

Я не думаю о тех самых женщинах, не вспоминаю ни их лиц, ни круглых коленок, ни впервые увиденных нежных частей…

Но зато перед глазами стоит полная балетной музыки желто-белая декорация улицы Зодчего Росси.

И уцелевшее – хоть и отмеченное трещиной от снарядного осколка – дореволюционно голубоватое кварцевое стекло на переходе из Зимнего дворца в собственно Эрмитаж, один из корпусов лучшего в мире музея.

И дореволюционную же алмазную грань обычной *лестничной форточки* второго этажа дома №3 по улице Марата. В подъезде, где когда-то съезжали по перилам молодые Мравинский и Шостакович – и где я провел лучшие вечера этажом ниже. С бывшим Соловецким юнгой, бывшим флотским боцманом и кандидатом химических наук Игорем Николаевичем Максимовым – памяти которого посвящен рассказ «Пари». И с его тещей Верой Федоровной Ивановой – проведшей годы в Китае, обучившей меня всему лучшему и воспитавшей то утонченное *барство*, которое до сих пор ведет меня по жизни.

И сохранившую «*і*» – хоть и с замазанным «*ёрсом*» – сине-белую эмалированную табличку в районе Адмиралтейства, оповещающую прохожего, что тот попал в

Керченскій переулокъ.

И другую табличку – на Невском, около упомянутой «Смерти мужьям» – тоже синюю, но не металлическую, а с трафаретными буквами по накрашенному фону:

Граждане! При артобстреле эта сторона улицы является наиболее опасной!

И так далее…

Наверное, рано или поздно в другой книге я опишу подобные впечатления от Ленинграда.

* * *

Здесь же приведу строфу из стихотворения, вроде бы посвященного женщинам, но на самом деле обращенному к «Моему Ленинграду»:

К Инженерному замку каштаны тянули верхушки,
В Летний сад сквозь решетку неслышно лилась темнота,
Перед Русским музеем смеялся живой еще Пушкин,
Громоздились атланты, безмолвно храня Эрмитаж…

* * *

Ленинград оставил в душе впечатление чего-то очень возвышенного, почти торжественного и глубоко классического, как симфония Гайдна.

11

Иное дело – Москва…

* * *

Этот город развивался сам по себе, разрастаясь радиально из маленькой деревеньки.

И старый центр сохранил милую уютность, несмотря на советские нововведения вроде переноса домов для расширения улицы Горького, бывшей и нынешней Тверской.

Москва всегда звучала для меня тихими, печальными и светлыми песнями Окуджавы.

Как звучит и до сих пор несмотря на то, что нынешний ее облик города изменился до неузнаваемости в далеко не лучшую сторону.

* * *

В Москве я бывал – сначала то проездами, то пролетами – с детских лет.

В *Ленинградско-студенческий* период своей жизни я оказывался там по вынужденным причинам: при отсутствии билетов на прямые рейсы агентство «*Аэрофлота*» отправляло до Москвы, откуда самолетов в Уфу вылетало на порядок больше.

Помню как в первый свой *осознанный* визит я ехал по весенней Москве из «*Шереметьева*» в «*Домодедово*» и отмечал, как за окном автобуса едва набухающие почки сменяются зацветшими деревьями. И впервые в жизни осознал, что в природе все меняется непрерывно и разница в сто километров по меридиану оказывается ощутимой.

А потом однажды преднамеренно взял из Ленинграда сразу два билета: на утренний рейс до Москвы и на вечерний в Уфу.

Решил провести в столице целый день, списавшись со своей старой любовью (№3, с 3-го по 8-й класс средней школы) Наташей Х., учившейся в *МФТИ*.

И мы провели его прекрасно.

Особенно запомнилась прогулка по Арбату.

Не по нынешнему пешеходному борделю, который я имел в виду, пиша в стихотворении «Виктору Винчелу»:

На ярмарке шутов раскинул балаганы
Без искры, без души бессмысленный наш век.

А по настоящему *Окуджавскому Арбату* с мостовыми и тротуарами.

От ресторана «*Прага*» до Смоленской площади, мимо дома, в котором родился Пушкин…

Эта прогулка наполнила мою душу таким светом, что я написал стихотворение «Мы с тобой шагали по Арбату», а теперь снабдил его фотографией той самой Н.Х. тех лет…

* * *

Но по-настоящему Москва открылась уже в Литинститутские времена.

В ту пору, когда я уже повзрослел, но еще не заматерел до такой степени, чтобы перестать радоваться жизни от самого пребывания в чудесном городе.

12

Бывая на литинститутских сессиях, я просто-таки *купался* в Москве.

* * *

Помню, с каким наслаждением покидал я по утрам мрачную, как склеп, *литобщагу* и ехал в институт.

Выходил из метро около Пушкина, который стоял спиной к кинотеатру «Россия».

Стоял молча, держа в одной руке цилиндр и склонив курчавую голову. И грустно озирал Тверскую улицу, стремящуюся сразу в обе стороны – текущую вниз и бурлящую вверх – у его ног.

Я останавливался и смотрел на него.

Но не снизу вверх – как обычные люди, толпившиеся на розоватом гравии скверика вокруг Опекушинского монумента – а оказавшись на одном уровне и глядя в печальные эфиопские глаза.

Ведь Пушкин всегда был не просто *моим всем*; я хранил в памяти каждую секунду его жизни, я знал и понимал его в тысячу раз лучше, нежели десять тысяч дипломированных «*пушкинистов*».

Он являлся для меня *человеком*.

И хотя я знал, что испытываю лишь иллюзии, мне было *все-таки жаль, что нельзя с Александром Сергеичем* зайти пусть не в «Яр», так хотя бы в модный по тем годам «*Макдональдс*», у которого круглыми сутками волновалась разношерстная очередь.

Вздохнув о том, *что былого нельзя возвратить и печалиться незачем*, я шел дальше.

Пройдя через скверик, где на низких скамейках вокруг остро пахнущих тинных фонтанов вовсю сверкали ногами весенние женщины, я шагал к институту.

К тому самому классическому желтому зданию с белыми пилястрами коринфского ордера, которое было описано как «*Грибоедов*» в «Мастере и Маргарите».

И которое и в ту пору оставалось именно таким, как его рисовал Булгаков.

Разве что вместо ресторана там разместились аудитории, а на клумбе перед входом не красовался зимой сугроб с воткнутой дворницкой лопатой: там круглый год стоял чугунный Горький в длинной подпоясанной косоворотке и развевающемся плащике.

* * *

Потом, после окончания занятий, снова выскальзывал из кованых ворот на Тверской бульвар.

Шел вниз.

Мимо театра, где погиб под рухнувшей декорацией великий Мейерхольд.

Где однажды я сам рассмотрел коленки своей случайной соседки – сокурсницы-поэтессы Ирины Н. – после чего увлекся ею всерьез и надолго, на всю сессию 3 курса.

Шел дальше, доходил до Никитских ворот.

Смотрел на церковь, где не существующий в природе бог уронил венчальную свечку, из последних сил пытаясь удержать поэта от безумства – не дать ему связать судьбу с губительницей неповторимой жизни.

И шел еще дальше, к грустному Гоголю, спрятанному советским оптимизмом в глубину Арбатского двора…

* * *

Москва принимала меня в себя и я растворялся в ней.

Я любил все ее черты и черточки; любил и «*Столичную водку*» Госплана и даже черный кирпич ныне снесенной гостиницы «Интурист».

А что стоили Сталинские высотки!

Величественные и легкие, подобные готическим соборам.

Ведь они не давили стоящего на земле человека, а лишь уходили все выше и выше с каждым шагом приближения к своим мощным фундаментам.

Издали – с самолета или на панорамном снимке – эти здания напоминали причудливые сталагмиты, вознесшиеся с земли и поддерживающие низкое небо своими высоко вознесенными звездами.

Словно бы помогающие почти таким же звездам старого Кремля.

* * *

Но мне эти высотные здания оставили еще и чувственный отсвет.

13

Да, именно так.

* * *

Несмотря на то, что согласно терминологии главы 10, мой *Донжуанский счет по городу Москва* составляет всего лишь 2,5 – 1 – 2 (что я имел в виду под «*0,5*», думайте сами), ощущения от столицы глубоко эротичны в совокупности.

И каждая черта моего любимого города так или иначе связана с чувственностью.

Вспомню всего один эпизод.

* * *

Стоял воскресный день.

Мы сидели в одной из «*высоток*» – конкретно в гостинице «Пекин», на Садовом кольце.

В номере, который снимали родители для одной из наших курсовых поэтесс.

(Той самой Ирины, которая одни ударом могла уничтожить обе кремлевские реликвии, о чем я писал во «Вкусе помады».)

Уже не помню, на каком этаже располагалась комната, своими трехметровыми потолками напоминавшая уютное ущелье. Помню только, что было там очень светло и просторно.

Мы сидели на краю широкой кровати – именно *на кровати*, по причине отсутствия иной мебели.

Нас было трое: кроме поэтессы и меня тут был еще один наш поэт.

Девушка сидела между нами, груди ее упирались в противоположную стену и перегораживали комнату на две части.

Мы с поэтом друг друга не видели и нам казалось, что поэтесса сейчас находится с обоими сразу, но все-таки с каждым по отдельности.

Хотя, наверное, последнее казалось лишь мне.

Ведь я успел попробовать чудесные бюсты всего лишь раз, да и то не руками, а… головой – проспав на поэтессином сокровище всю дорогу в автобусе на экскурсию в Загорск.

А вот поэт переживал с нею упоительный роман со всеми бурностями и наверняка ждал, когда я уйду.

Не сомневаюсь, что и девушка… к тому времени уже ставшая *недевушкой*, ждала того же самого.

Но тем не менее ребята ни единым словом не намекали на затянутость моего присутствия.

Думаю, им владел синдром, каковой озвучил герой-алкоголик в романе Олега Куваева, который утверждал, что больше всего в жизни любит не саму выпивку, а *момент ей предшествующий*.

То есть ожидание вот-вот грядущего удовольствия было куда сильнее, чем само удовольствие.

И потому мы сидели и болтали обо всем на свете.

На широком подоконнике стояла бутылка армянского коньяка за восемь рублей двенадцать копеек, а за окном я видел другую «*высотку*».

Здание МИД СССР, стоящее на Смоленской площади, в дельте *реки Арбат*.

* * *

Впрочем, я могу ошибаться.

Возможно, здания Министерства иностранных дел великой страны, занимавшей шестую часть мировой суши, я тогда не видел.

Не исключено, что номер поэтессы выходил на другую сторону; да и вообще не уверен, что Смоленская площадь просматривается из «Пекина».

Но это неважно.

* * *

Важным было лишь то, что в тот момент я *думал* о том самом здании.

Ведь я собирался туда на спланированное свидание.

Предыдущим субботним вечером я познакомился с девушкой.

Миниатюрной студенткой дневного отделения одного московского института, бывшей моложе меня лет на 15 – хотя сей факт меня не озадачивал.

Мы познакомились в театре.

(Ведь на протяжении 5 сессий я все свои вечера проводил в театрах.

Литинститут входил в реестр творческих ВУЗов, и студенческий билет служил рода пропуском в любой драматический театр.

Стоило лишь отстоять небольшую очередь перед спектаклем и протянуть синюю книжечку в окошко администратора, как в руках оказывалась бесплатная контрамарка – причем на 2 лица, словно дирекции всех театров знали о необходимости *сублимации* творческого либидо.)

Девушка мне приглянулась: она принадлежала к моему женскому типу.

Одета она была в какую-то блузку и заманчиво короткую юбочку.

И смотрела на меня снизу вверх так, что после спектакля мы не попрощались.

Я проводил ее на метро до общежития, которое находилось около МКАД, на тогдашней окраине Москвы.

Но и там мы расстались не сразу – еще добрый час гуляли в темноте по какому-то парку, вдоль берега плоского канала.

Девушка не возражала, а лишь захихикала и обхватила мою шею, когда я естественным образом подхватил ее на руки.

(И ее масса и моя тогдашняя сила позволили сделать это одним духом!)

И я какое-то время нес ее под смутными фонарями.

Ощущая ее легкое дыхание на своей щеке.

Томясь упругим прикосновением выпуклостей через мою тонкую рубашку, ее еще более тонкую кофточку и пропечатывающийся бюстгальтер.

Млея от гладкости ее прохладных голых ног в своих дрожащих ладонях.

Мне очень хотелось поцеловать ее под теми сумрачными фонарями, но я не стал продвигаться слишком быстро и мы договорились о свидании.

На следующий день у здания МИДа – где она проходила практику по своей специальности.

* * *

Поэтому, сидя в «*Пекинском*» номере, я *предвкушал* не менее, чем эти самые поэт с поэтессой.

Только если им оставалось лишь раскинуть ложе любви, то мне предстояли некоторые усилия.

Но в конце концов, плод от них не становился менее сладким, а для *этого* дела обшарпанная комната *литобщаги* (из которой без слов удалился бы верный Саша Ануфриев) годилась не хуже, чем номер высотной гостиницы.

И потому я тоже оттягивал момент – досидел до крайнего срока, искоса глядя на грудь поэтессы и думая о *местах* той девушки.

А потом устремился на точку почти бегом.

Высокий и стройный, с пышной шевелюрой, в длинном черном кожаном плаще, почти свежем костюме и белой рубашке при модном по тем временам галстуке из узорчатого кожзаменителя с жемчужным отливом.

Великолепный, как прижизненный памятник самому себе, и невероятно счастливый.

* * *

На широких ступенях перед циклопическим порталом я прождал маленькую девушку целый час.

Мог бы ждать до второго пришествия – которого дождался бы навряд, поскольку и первое остается под вопросом.

Она не пришла.

Не знаю причин; скорее всего, главной был мой уже тогдашний возраст.

* * *

Но неудача меня не огорчила.

Все происходило на 1 курсе.

Будущее казалось уходящим под небеса, словно высотное здание Сталинского классицизма…

Впереди было несколько сессий и достаточно вечеров; в Москве имелось много театров и девушек в них собиралось немало – все у меня было впереди.

Девушки в джинсах, в платьях, в шортах и в юбках.

Девушки в чулках и девушки в узких трусиках.

Девушки в лифчиках с прокладками, в лифчиках на косточках, в лифчиках жестких, мягких и неощутимых кружевных, девушки в «*анжеликах*» и девушки без «*анжелик*».

Девушки одетые, полуодетые, полураздетые и совсем раздетые.

Девушки в гостиничных номерах, в комнатах общежития, в его подвальных душевых и на подоконниках его коридоров, на скамейках ночных парков и еще черт знает где…

Так мне казалось в то воскресенье.

* * *

Увы, лишь казалось.

Но то – иная история; сейчас вспомнилось только нечто светлое.

14

Оно пришло ко мне, едва я начала писать о двух любимых городах своей молодости, связанных почти прямой железной дорогой, соединявшей два одинаковых вокзала.

* * *

Ведь все это было.
И не с кем-нибудь, а со мной.
Хотя в жизни столь далекой и столь счастливой, что сейчас уже не кажущейся реальной.

* * *

Рыжая Анастасия еще в те времена предупреждала всех:

«Москва – Санкт-Петербург» – любви прощальной поезд.
Прощай, мой милый друг, быть может, навсегда!
«Москва – Санкт-Петербург»… Любовь моя – как повесть,
Что нам не дописать, быть может, никогда.

* * *

А я все-таки попытался дописать.

Вкус помады

Это было давно, хоть и правда.

* * *

В 80-х годах прошлого века я часто пел одну песню.

Автора уже не помню; не имея привычки без особой нужды рыться в зловонной помойке Интернета, не стал искать я и точного текста, а привожу по памяти один куплет:

Тридцать лет – это солнце и море,
Вкус помады и горечь потери!
Тридцать лет – это радость и горе,
Тридцать лет – это жизнь на пределе…

Впрочем, не исключено, что я перепутал нечетные строки, взяв их из другого куплета.

Отмечу, что песня так и называлась «*30 лет*», и автор ее считал сей возраст «*возрастом вершины*», хотя и оговорился в последней строке, что «*тридцать лет – это все-таки мало*».

Будучи от рождения литератором до мозга костей, при исполнении я слегка редактировал вторую строку, заменив «*горечь*» на «*запах*», поскольку полагал, что информация, даваемая двумя разными органами чувств, экспрессивнее, нежели перечисление двух разных вкусов.

В те годы мне самому еще не исполнилось даже тридцати, поэтому символы автора казались верными; лишь много позже я понял, что нет в жизни ни подъема, ни вершины, ни спуска, что сама жизнь *есть только миг между прошлым и будущим…*

Но это уже совершенно другая песня, да и вообще мои воспоминания – не о песне, а о помаде.

1

И относятся они к чуть более позднему времени – к году 1994-му, завершавшему Московский период моей жизни.

…Была весна, в окно глядели гроздья белые,
Цвела черемуха – о, как цвела она!
Тебе шептал я те слова любви несмелые -
Ты в полночь лунную мне сердце отдала…

Еще одна песня из моего прошлого репертуара всплыла сама по себе, хотя к тому дню отношения не имеет вовсе.

Никому я ничего не шептал и никто мне ничего не отдавал в полночь – ни сердца, ни чего-то более важного для часа любви под взглядом молчаливой черемухи…

* * *

В тот день самом деле была весна. Относительно черемухи… не помню, цвела ли она по Москве именно тогда – помню только, что кончался май, у дверей стоял июнь, а за окном тянулся обычный и даже серенький предлетний день.

Я приехал в Литинститут получать свой второй диплом о высшем образовании.

Диплом этот был *синим* – в отличие от первого, *красного*, полученного в Ленинградском университете: учась до 5-го курса на одни «*пятерки*», в последнем семестре я резко стравил пары, я словно уже знал, что диплом этот мне никогда в жизни не понадобится, и спустил рукава, отдал учебное на время занятия более приятные. По сей причине особой радости от события я не ожидал, но – имея барские привычки! – приехал из общежития элегантным, как рояль: в костюме, в специально припасенной для мероприятия ненадеванной белой рубашке, при галстуке и без всяких торб или пластиковых пакетов.

По окончании процедуры (ни принесшей, кстати, ничего патетического никому из моих сокурсников по причине терминального состояния самой литературы, уже наступившего в те времена) я обнаружил, что на дворе сеется мелкий безвременной дождичек, а костюм мой непригоден для транспортировки свежеполученной книжицы. Наружные карманы пиджака были недостаточно глубокими, внутренний – слишком узким, а в карман рубашки помещался только студенческий билет.

* * *

(Который мне удалось «*закроить*» при сдаче документов в учебную часть. Наш выпуск был ускоренным, последняя годичная строчка осталась незаполненной, а я по наивности рассчитывал, что буду приезжать в столицу и еще целый год пользоваться этим билетом как творческим пропуском, делающим доступным любой драматический театр.

Включая и любимый до судорог «Малый» где еще играли Островского последние из могикан, носители настоящего русского языка Гоголева и Анненский.

И «Театр Советской Армии» с гениальным Олегом Борисовым – Павлом I в одноименной пьесе Мережковского.

И светлой памяти Владимира Семеновича «Театр на Таганке»», где можно было смотреть любой спектакль, лишь бы там играл неподражаемый в своей скромной экспрессии Валерий Золотухин.

И украшенный томительными линиями «*либерти*» старый «МХАТ» где со сцены размахивал руками восхитительно полупьяный Олег Ефремов.

И «МХАТ» новый, похожий на вдесятеро увеличенный бункер Гитлера, под серыми бетонными сводами которого гремел хриплый голос Татьяны Дорониной.

И одиозный «Ленком», где Леонид Броневой был лишь чуть-чуть хуже своего Мюллера из «*Мгновений*».

И даже не помню какой, где в радикальной пьесе по «*Запискам из Мертвого дома*» Федор Михалыча Достоевского у самой рампы целых 5 минут расхаживала АБСОЛЮТНО ГОЛАЯ ЖЕНЩИНА!)

Будучи мастером разрешения тактических ситуаций, я сориентировался молниеносно. «*Сел на хвост*» одной из (на тот момент уже бывших…) сокурсниц, тоже иногородней, сунул драгоценный диплом в ее сумочку, и обратно в общежитие мы поехали вместе.

Добраться туда из института можно было довольно быстро: спуститься в метро около грустного Пушкина на Тверской, проехать (кажется, с пересадкой) до одной из станций в районе Дмитровского шоссе, а там одолеть еще несколько остановок уже по земле и на чем угодно. Но мы никуда не спешили.

Ведь нам обоим было *некуда больше спешить*; мы получили дипломы и сдали книги в библиотеку, оставалось лишь собрать вещи, попрощаться с друзьями и разъехаться навсегда.

Поэтому мы просто вышли на Тверской бульвар, протрусили под дождем на другую сторону и сели в Окуджавский троллейбус.

Синий – как ему и положено было быть, но не *последний*; последним был наш день в Москве.

А потом ехали добрый час через пол-центра, по Дмитровке и Новослободке, мимо вытянувшихся во фрунт по ранжиру громадных домов Сталинского классицизма, мимо одного выстроенного *глаголом* и заслонившего своими стенами мрачную тень Бутырской тюрьмы (возникшей на окраине, но теперь оказавшейся в сердце столицы), мимо крошечной церкви, в которой – если верить апокрифам – в 1812 году стояла лошадь Наполеона, мимо еще чего-то, уже стершегося из памяти.

Троллейбус плыл по мокрым блестящим мостовым, дождь струился по стеклам, но внутри было сухо и уютно, мы сидели рядышком на высоком кожаном сиденье и разговаривали обо всем на свете и ни о чем вообще…

* * *

…Читателю, хорошо изучившему мое творческое наследие и знакомому с моими сюжетными ходами, увидевшему в предыдущих абзацах зачин к некоему *романическому* продолжению и уже замершему в трепетной надежде на нечто душещипательное или даже плавно перетекающее в раздел XXX, приношу извинения за обман: не было дальше ни романического, ни перетекающего.

Вообще ничего не было.

Как не дрожало между нами даже намека на возможную искру, с этой свистушкой я прежде не общался, мы были едва знакомы.

Я не помню, кто она была по специальности: прозаиня, поэтесса, драматургичка или вовсе литературная критица…

* * *

(Отступая от темы, отмечу, что неологизм «*критица*» я ввел не из оскорбительных намерений, а совсем наоборот.

Это слово вызывает у меня некую аллитеративную ассоциацию со словом «*каракатица*», а оный моллюск относится к разряду моих любимых сущностей. Тая внутри себя чернильную душу, каракатица радует внешним обликом: она грациозна, нежна, изменчива, имеет упругое тело и печальные глаза. Она женственней, нежели десять тысяч искусственно осветленных голливудских кинозвезд, а из чернил ее в прежние времена делали натуральную краску *сепия*, имевшую восхитительный оттенок.

Потому сравнение женщины с *каракатицей* в моих устах звучит как высочайшая похвала.)

Но мемуар мой все-таки не о том.

А эти абзацы я написал лишь для того, чтобы подчеркнуть, что между нами не было ничего такого: в тот период жизни я парил над инфернальной бездной увлеченности своей будущей нынешней женой (для посвященных – Миленой Летницкой) и другую женщину не воспринимал как объект…

2

…Итак, мы сидели, болтали – и ехали, ехали, ехали…

Мимо нас, назад и прочь из нашей жизни текла Москва – Москва первой половины 90-х – город, в котором прошли далеко не худшие наши дни.

После того, как троллейбус – синий, как мой несчастный диплом – доплыл до нужной остановки, мы провели вместе еще некоторое время.

Не потому, что ударила-таки та самая искра, просто ей нужно было купить всяких макарон для последнего ужина, дождь не собирался заканчиваться, диплом все еще требовал сохранения, и я тоже пошел в магазин, где отстоял рядом с нею душную очередь и даже купил для себя баночку шоколадной пасты – просто так, чтобы оправдать свое стояние.

Потом мы вошли в наше общежитие – мрачное, как египетская гробница, и куда более грязное – поднялись мимо лифта на третий (кажется, именно третий, хотя это не имеет никакого значения!) этаж и расстались навсегда: она ушла в правое, женское, крыло, я – в левое мужское (забрав наконец свой бесценный – в прямом смысле слова… – диплом).

Но временная моя попутчица, выше аттестованная мною квазинормативно, на самом деле и была тем самым словом.

В сумочке ее – среднего размера женской вещице – был примерно такой же порядок, как в бетономешалке, приготовленной к замесу с десятком композитных наполнителей.

В тесном замкнутом пространстве, лишенном карманчиков и перегородок, вперемешку лежали самые разные вещи.

Ее собственный диплом, блокнотик с адресами и телефонами, аккуратно свернутая «*раскладушка*» с картой Московского метрополитена, никому уже не нужные тетрадки с конспектами за три последних сессии, пять шариковых ручек всех цветов, имевшихся в «Союзпечати» (из которых писала только красная), кошелек с деньгами, жетоны на метро, трамвайные, троллейбусные и автобусные абонементы (как новые, так использованные), роман Ж. Сьюзанн «Одного раза недостаточно» в твердом переплете, четыре одинаковых карамельки в блестящих обертках и одна большая шоколадная конфета в простой бумажной, жвачка (как в надорванной пачке, так и приклеенная к чему-нибудь), три пары золотых сережек в трех разных полиэтиленовых пакетиках (с красными камешками, с зелеными и без камешков вообще), флакончик духов с распылителем, роликовый дезодорант, компактная пудреница (скользкая, как лягушка, с полустертой золотой розой на крышке), три расчески плоские и одна круглая массажная, аэрозоль с лаком для волос, восемь заколок-«*невидимок*» на картонке, черная тушь для ресниц в бутылочке со встроенной кисточкой и тени для век восьми цветов в одной плоской коробочке, миниатюрная точилка из нержавеющей стали, два карандаша (один не начатый, второй почти сточенный) и блеск для губ в круглой баночке, зеркальце, белый носовой платочек, запасные колготки, полупустая упаковка *экстренных* таблеток «Постинор», несколько предметов из того ассортимента, который я как джентльмен не буду озвучивать, и патрончик с красной губной помадой.

* * *

(В очередной раз отступив от темы, позволю себе высказать мнение, что женщина, в чьей сумочке никогда (хоть раз в жизни!) и ни при каких обстоятельствах (во время выпускного вечера, при получении диплома, перед свадьбой, после развода, на смотринах дочери, по дороге в роддом за первым внуком…) не лежала губная помада, является

ДОСАДНОЙ ОШИБКОЙ ПРИРОДЫ.)

* * *

Пока мы ехали, стояли в магазине и покупали продукты, с этого патрончика (далеко не нового, пустого на три четверти и с давно сломавшимся механизмом уборки-выпуска) соскочила надтреснутая крышечка, и…

И когда я пришел в свою ободранную комнату и раскрыл свой долготерпимый документ о полученном втором высшем заочном образовании, то обнаружил, что внутри он испачкан – в правом верхнем углу, ниже надписи «*ДИПЛОМ*», напротив серии и номера, чуть выше моей фамилии, остался красный след.

Я был удивлен, возмущен и раздосадован, поскольку с детства трепетно относился к сохранности своих вещей, но выяснять отношения не пошел, предпочтя потратить остаток дня на общение в Валерой Роньшиным, моим тогдашним сокурсником и нынешним известнейшим Петербургским писателем, автором детских «*страшилок*».

А потом собрал вещи и уехал в Уфу – кажется, даже тем же самым вечером.

* * *

Потом уже в домашней обстановке – будучи по-немецки педантичным к своим документам, даже к самым никчемным! – я пытался отчистить диплом спиртом, чего мне не удалось, поскольку помада оказалась качественной и была не чета нынешнему ширпотребу.

Пахла она приятно, вкуса ее я не знал, хотя в тот последний день к тому имелись все возможности.

Но я повторяю, что не проявил к своей спутнице знаков внимания, ни разу не дотронулся даже до ее красивой ноги – хотя (чорт меня забери совсем!!!) были же у нее какие-то ноги, и даже целых две, а

НИКАКАЯ ПАРА ЖЕНСКИХ НОГ
НЕ МОЖЕТ
НЕ БЫТЬ КРАСИВОЙ!!..

* * *

Вот и все, что было.
Больше не было ничего.

* * *

(Как давным-давно – еще в те годы, когда у меня самого кипела жизнь и что-то было впереди – уже сказала о себе героиня моего «Рассказа без названия».

Произведения, родившегося на одном дыхании, но сделавшегося *программным* для меня самого.

И, возможно, в самом деле удачного.

Не зря же один мой друг – писатель, человек очень талантливый, подлинный художник слова, умный, тонко чувствующий, невероятно начитанный и (что самое главное!) – абсолютно беспристрастный в своих внеличностных оценках – поставил его в один ряд с «Темными аллеями» Бунина…)

3

С тех пор прошло… почти четверть века.

* * *

Сегодня, когда я слышу голос давно ушедшего Юрия Иосифовича Визбора, поющего о том, что *потом были в жизни дары и находки*, мне кажется, что ко мне эти слова отнесены быть не могут.

* * *

В предположениях относительно значимости своего Литинститутского диплома для будущей жизни я оказался прав: он не дал мне ничего.

Как не дал мне по сути ничего и первый диплом, полученный на мат-мех факультете ЛГУ, и диплом кандидата наук, и выданный ВАКом аттестат доцента.

Я не реализовал ни одного из своих талантов.

Я не был востребован как танцор, певец, живописец, мастер лаковых миниатюр, график, дизайнер, прозаик, поэт, публицист, журналист, критик, редактор.

Ничего не дали мне ни свободное владение английским языком, ни умение говорить по-немецки, как урожденный саксонец (ну, в крайности – как венгр!), ни общая лингвистическая склонность, благодаря которой я без усилий мог усвоить несколько оборотов и использовать их – не для чтения книг, а для продуктивного контакта с носителями! – на идиш, иврите, польском, украинском, эстонском и даже турецком…

Сущим ничем оказалось умение выбрать правильную посуду и правильным образом употребить из нее тот или иной спиртной напиток.

Не помогли мне ни умение держать нож в правой руке, а вилку – в левой, ни ловкость разрезания авокадо, ни искусство всякий раз заново повязывать на себе галстук перед зеркалом, ни божий дар носить концертный фрак с такой небрежной грацией, будто именно в нем я и родился.

Не спасло меня даже знание того, в каком случае нужно пропустить даму в дверь, а когда – войти или выйти вперед нее.

Ну и, разумеется, ничего не стоили ни мой могучий рост, ни моя благородная осанка, ни неземная красота, ни физиогномические признаки, сообщавшие каждому встречному, что мой *Iq* приближается к значению 200, а словарный запас – к 100 000 единиц, ни харизматическая аура моего эго, ни даже конструктивная компонента моего либидо, не требующая никакой сублимации.

И напрасно всю жизнь я говорил «*класть*» и «положИть» – мог бы запросто говорить «*лОжить*» и «*поклАсть*»…

* * *

Единственную радость бытия дал мне тот факт, что в своих произведениях я создал для читателей и сам прожил вместе с героями добрую сотню иллюзорных, но разнообразных, ярких и волнующих жизней.

Ведь, не надеясь хоть когда-нибудь достигнуть Соломоновой мудрости, я все-таки давно понял, что жизнь есть не то, что с нами ПРОИСХОДИТ, а то, что нам КАЖЕТСЯ в любой отдельно взятый момент.

* * *

Моя же реальная жизнь…

4

В молодости, в те самые 30 лет, о которых пел, я со своими дарованиями представлял просто-таки прижизненный памятник самому себе.

Но прошли годы, и монумент *пошел в размол*, как сказал бы устами своего героя один их моих любимых писателей, печальный мудрец, эстонец Энн Ветемаа…

И виноваты в том не кто-то посторонний.

Виноват один лишь я – выпросив у судьбы бездну задатков, я неверно заказал эпоху их приложения: родился то ли слишком рано, то ли чересчур поздно, но никак не в нужное время.

* * *

Хотя некоторые умные люди считают, что причина другая – ее еще в XIX веке указал величайший русский поэт (который был эфиопом):

Чорт догадал меня родиться в россии с умом и талантом…

Обо всем этом можно говорить долго, нудно и неконструктивно.

5

Но когда по какой-то косвенной причине я вдруг открываю свой синий диплом и вижу след помады – оставшийся с прошлого века, потерявший запах, поблекший и выветрившийся сам по себе за эти годы до такой степени, что на заставке к этому мемуару мне пришлось выделить его Фотошопом – когда я открываю ту книжицу и вижу этот след…

То испытываю двоякое ощущение.

С одной стороны, вся моя жизнь – это всего лишь старый след чужой помады (мною на вкус не попробованной!) на моем старом дипломе (оказавшемся мне не нужным!).

* * *

А с другой…

Я беру в руки этот старый диплом, отмеченный помадой – и вспоминаю тот день и тот троллейбус – и ее, ехавшую рядом со мной по последнему маршруту от Тверского бульвара до улицы Добролюбова.

Я не помню, из какого она была города, не помню ее фамилии, даже ее имени, я не узнал бы ее сегодня, сядь она через стол от меня.

Я не имею понятия, кто узнал вкус той самой помады, равно как узнал ли его хотя бы кто-нибудь.

Я не знаю ее судьбы.

* * *

Не знаю, ведет ли она в издательстве *ЭКСМО* серии психологических триллеров, как другая моя сокурсница – Аня, с которой на протяжении двух сессий у меня был роман, оставивший приятные воспоминания на всю жизнь.

Или владеет собственным издательством – как Анжелика, красивая, словно кукла Барби, и такая же глупая.

Пользуется ли она заслуженным уважением, достойным действительно талантливого поэта, в родном городе – как Лиза, чьими ножками в черном эластике мы любовались всем курсом все пять лет.

Или без всяких проблем стала москвичкой благодаря квартире, купленной ей родителями – как Ирина, бюстом которой с одного удара можно было бы не только доломать Царь-колокол, но и разнести в пух до сих пор невредимую Царь-пушку.

А может, она вышла замуж и стала счастливой матерью нескольких детей – как другая Ирина, коренная москвичка с благородной фамилией, с которой однажды *целую ночь соловей нам насвистывал* (в Переделкинской квартире Ирины предыдущей, когда владелица жилья спала в комнате, а мы уединились на кухне: философствовали, выпили килограмм хозяйского кофе, а утром разъехались, сонные как сурки – я в общежитие спать, она на работу, в редакцию порнографической газеты «СПИД-инфо»).

И не пропала ли она вообще в полном тумане неизвестности – как Лена, вице-королева I Всесоюзного конкурса красоты, девушка замечательная со всех точек зрения…

…Где они все? в какой новой богине
Ищут теперь идеалов своих…

И опять ко мне пришло не то.

* * *

Ничего они не ищут – давно нашли, каждая свое. Земная женщина куда практичнее возвышенного мужчины.

Это я, как мальчишка, до сих пор чего-то ищу, строю новые замыслы, до сих пор пишу новые произведения, замахнувшись на такую высоту мыслей и чувств, что самому страшно посмотреть вниз.

Продолжаю разбрасывать камни в том возрасте, когда средний человек разбрасывает уже только навоз на грядках своего огорода…

* * *

(Хотя СРЕДНИЙ всю жизнь разбрасывает именно НАВОЗ, не тяготясь рефлексиями об адекватности своего бытия!)

* * *

Но все-таки разбрасываю, пишу, вспоминаю.

* * *

И, мне начинает казаться, что в моей жизни все-таки что-то БЫЛО.
И находки и даже дары.
И вкус помады – тоже.

* * *

И от всего сердца благодарю своего не сокурсника, но друга Виктора Винчела, своим рассказом «Двух прыжков через ров не бывает» сорвавшего во мне лавину воспоминаний, которая и побудила меня написать все это.

Девушка с печи №7

Девушка была недевушкой.

И звали ее не Анжеликой.

(Анжелика была моей сокурсницей; эта училась позже: когда я получал диплом, она сдавала свою первую весеннюю сессию.)

Звали ее…

Тем именем, которое у невежественного человека ассоциируется с банкой консервированных огурцов из супермаркета, а у *вежественного* – со впадиной суши, заполненной соленой водой (изолированной, соединяющейся с другой такой же впадиной или выходящей в Мировой океан).

А фамилия ее была интернациональной, поскольку происходила от профессии древней и востребованной.

(Если вы подумали сейчас о *древнейшей*, то мне за вас стыдно.)

Поскольку немкой она носила бы фамилию *Muller*, англичанкой – *Miller*, француженкой (я полагаю) – *Moulin*, а латышкой уж точно была бы *Мельникайте*.

Лет ей было около 25 (мне самому в тот год грозило исполниться 35).

У нее были чистые детские глаза, тихое лицо, молочно-белая кожа, льняные на вид и шелковые на ощупь волосы (мама ее была эстонкой), ненавязчивая грудь и большая уютная попа (полагаю – теплая, как печь).

Подчеркиваю сразу: всего лишь *полагаю*!

(Впрочем, ассоциация с *печью* возникает у меня лишь сегодня по причине, которая прояснится позже.)

Происходила она не из Прибалтики, а из того южного города, где произошло незначительное по масштабам II Мировой войны, но значимое для каждого отдельного солдата сражение, которое впоследствии стало эпохально-символическим для последних десяти лет застойного периода СССР, породив невыразительную книгу и очень хорошую песню.

Несмотря на *очень зрелую* фигуру, она создавала впечатление существа, нуждающегося и в ласке и в защите.

Прибегая к привычному языку образов, скажу так. Без всякой связи она ассоциировалась у меня с героиней рассказа «Кроткая». Тихой простой девушкой, которая не вынесла унижений со стороны мужа и покончила с собой. Выбросилась из окна, прижав к груди икону – чтобы бог простил грех и не отвернулся от нее на том свете. Это произведение мне кажется сильнейшим во всем наследии Федор Михайловича Достоевского – на мой взгляд, он куда пронзительнее и «Братьев Карамазовых» и «Преступления и наказания» и всего прочего тем более.

Хотя выбрасываться она ниоткуда не собиралась.

1

Впервые я обратил на девушку внимание в коридорах нашего заочного отделения: она попадалась мне на глаза то здесь, то там, и всегда у какого-нибудь расписания или перед доской объявлений возле учебной части.

Сначала я думал, что она изучает какую-то важную для себя информацию; в руках она держала блокнот – как мне казалось, всегда один и тот же.

Но однажды, уходя на свою пару, я увидел ее перед расписанием *нашего* курса, а выйдя из аудитории, обнаружил ее там же и в той же позе и с тем же маленьким блокнотиком в руках. И понял, что она просто поэтесса (практически все девушки и женщины заочного отделения

были именно *поэтессами*; на нашем курсе только моя неземная любовь Аня Дубчак была прозаиком – остальные оставались поэтессами, не считая критиков). И что если Высоцкому для вдохновения нужно было видеть перед собой кусочек пустой стены, то этой беленькой тихой девушке требовался какой-то текст, неважно какой.

Потом я увидел ее в общежитии – между турникетом вахтера и входным предбанником, где стоял стандартный ряд кресел для гостей.

Это грязненькое фойе было своего рода чистилищем сомнительного рая: несмотря на атмосферу чудовищного разврата, дрожащую сразу за турникетом, пройти через него постороннему человеку можно было лишь отсидев неопределенное время перед вахтером в ожидании, пока не появится сердобольный человек с пропуском, возвращающийся в свое временное жилье, пока он пройдет по этажам в поисках указанной комнаты, а потом еще и пока нужный человек соизволит бросить свои неотложные дела и спуститься за нежданным визитером. Примерно так, как происходит сейчас в любом отделе полиции, но при отсутствии мобильной связи.

У девушки, разумеется, пропуск имелся, да и одета она была по-домашнему: не в джинсы, как большинство особ женского пола, а во фланелевое домашнее платье с голубыми разводами (очень шедшее к ее светлым волосам) и отделанную серым кантом черную кофту с накладными карманчиками – без пуговиц, с запАхом и перехваченную пояском. Она производила впечатление только что спустившейся к доске объявлений, чтобы прочитать нечто новое или поискать телеграмму для себя. Ведь в те времена средством экстренной связи служили именно телеграммы, которые почтальоны без слов прикрепляли кнопками. Но доска была пуста, единственным текстом на ней остались красные буквы, оповещающие непонятливых о том, что это именно *доска* и именно *объявлений* – а она стояла и стояла. В той же позе, что в институте и с тем же серењким блокнотиком, и рассматривала белую пустоту – теперь уже в точности как Высоцкий! – только ничего не писала.

(Спустя без малого двадцать пять лет воспоминание именно об этой девушке, стоявшей перед пустой доской, на которой не имелось объявлений – совместно с моей фотографией 2007 года с девочкой лет 14-ти, недвижно смотрящую в морскую даль на побережье Алании – послужило толчком к написанию этапного романа «Девочка у моря». Хотя с первого взгляда было ясно, что *девочкой* эта девушка не была.)

Позже, познакомившись с нею, я узнал факты, которые могли служить причиной ее странных состояний.

Будучи молодой с виду, она уже была вдовой, потеряв в мотоциклетной катастрофе мужа и ребенка, и у нее самой еще плохо сгибалась левая рука…

* * *

Имя девушки я узнал раньше, нежели мы познакомились лично.

Тому послужил ее сокурсник, сермяжный поэт лет сорока – восходящая звезда и общепризнанное будущее русской изящной словесности.

Вечно пьяный кривоногий коротышка с фигурой шимпанзе.

Известный всем как «Дровосек».

Не из-за мирской своей профессии, а после одного вечера, когда он поставил на уши все общежитие.

Полностью неадекватный стихотворец в течение нескольких часов бегал вверх и вниз по этажам нашего вертепа с невесть откуда раздобытым топором. Гонялся за собственной тенью, но не оставлял внимания всех попадавшихся на глаза: метался, словно *эхо прошедшей войны*. И, вероятно, все кончилось бы не смешно, не встань на пути героя *сладкая парочка*. Два третьекурсника, два нежных друга – два всем известных прозаика-гомосексуалиста. Активный

бритый и пассивный бородатый – классификацию привожу авторитетно, поскольку однажды имел грех, на пару дней нарушил идиллию, будучи подселен третьим в их комнату по причине отсутствия свободных.

Бритый выдернул занесенный топор, бородатый ударил поэта поддых, потом уже не помню который взял его за шкирку и вернул не в лоно Святой церкви, а в его собственную за… за*мусоре*нную комнату.

Этот паскудный Дрово*сек* вечерами бегал вдоль нашего заочного этажа, пинал все двери подряд (по причине пропитой памяти) и орал:

*– XXXXXка!… Сука, ****, *** ***, ***, ***, ***, *** !.. Где ты там – выходи, я тебя *** хочу!!!*

(Поясню, что «X» стоят вместо букв ее имени, а знаки «***» обозначают ненорматив.)

Я считал, что похотливый пиит швыряет эпитеты и изъявляет желания *безосновательно*.

Просто *приличные* женщины в нашей клоаке всегда жили по двое, а по одной селились именно те, которых он аттестовал непечатно.

А эта девушка была одна – наверное, еще не отошла от своей жизненной трагедии и тяготилась любым обществом.

Ведь даже имея (как я узнал впоследствии) радушную московскую тетку, она предпочитала жить в смрадном одиночестве нашей «*литобщаги*» – именно так мы именовали между собой притон муз, пьянства и разврата, на время соединявший всех нас.

Но так или иначе, косорылый стихотворила из лесотундры позволил мне узнать ее имя.

А вот познакомились мы при обстоятельствах почти романтических.

2

В тот вечер в моей…

Именно в моей, поскольку в преддверии выпуска институтское начальство селило нас поодиночке для комфорта, необходимого при подготовке к госэкзаменам и защите диплома. Словно никто не имел понятия о том, что в условиях совместного проживания здоровых мужчин и нормальных женщин этот комфорт будет использован для занятий совсем *иного* рода…

В моей комнате, украшенной мною для нормальной жизни всеми средствами, собралась теплая компания.

Несколько граждан мира.

Своим присутствием говорящих без слов о том, что для людей искусства нет и не может быть национальных различий, откуда бы они ни собрались.

Это был истинный цвет нашего курса.

Их стоит вспомнить по отдельности.

* * *

Саша Ануфриев.

Драматург из Самары.

Тонкий умный художник.

Обладавший талантом демиурга, способного передать облик любого человека при помощи пары слов (причем не всегда непечатных!)

Невероятно вспыльчивый, но быстро отходящий.

Страстный любитель жизни во всех проявлениях.

Среднего роста, плечистый и крепкий – Казанова с профилем Бонапарта.

Человек, с которым можно было идти хоть в огонь, хоть в воду, хоть к чорту в зубы, хоть к незамужним актрисам из народного театра города Люберцы.

Человек с большой буквы, сыгравший ключевую роль в Литинститутском периоде моей жизни.

Мой ближайший и вернейший друг, с которым мы всегда селились вместе вплоть до последней сессии.

С которым вели диспуты о русской словесности, коим позавидовал бы великий Потебня. Например, однажды полдня валялись на койках по причине дождливого воскресенья и пытались прийти к согласию относительно того, как правильно образовать множественное число от слова, означающего нецензурную часть женского тела – точнее, какой должна быть вторая буква: «*Ё*» по аудиальной ассоциации со «*звезда – звёзды*», или «*И*» – по графической, хотя и непонятно с каким цензурным словом. И видели предмет дискуссии не шуточным, а вполне серьезным: сами себе мы казались зрелыми, но на самом-то деле были тогда молоды, как черти…

Мы вместе уезжали утром в институт, вместе сидели на занятиях, вместе оттуда сбегали, вместе гуляли, ходили в театры и знакомились там с женщинами.

Хотя по причине моего тогдашнего целомудрия Шура все-таки не взял меня с собой в общежитие института *ВГИК*. Он и сам вернулся оттуда ошарашенный; в сравнении с этим венерическим храмом любви наш лупанарий казался отделением института благородных девиц при католическом монастыре. Ведь у нас все *это* проходило кулуарно и вдали от чужих глаз, лишь мучимый томлением плоти Дровосек бегал по коридорам и орал, как ускользнувший от ветеринара кот – да и то лишь орал. А будущие светила Советского киноискусства жили в простоте древних греков. И любые приглянувшиеся друг другу люди в любой момент занимались любимым делом, даже не заперев дверь – всякому случайно вошедшему предлагалось сесть на соседнюю кровать и подождать, пока они насытят свои нервные окончания.

При своей художнической страсти ко всем проявлениям бытия Саша Ануфриев был невероятно глубоким и остро чувствующим. И я благодарен судьбе, сведшей меня с таким человеком хотя бы на пять лет.

* * *

Украинец Юра Обжелян.

Прозаик с творческого семинара Владимира Орлова (автора нашумевшего романа «Альтист Данилов», выучившего и мою безответную Аню Дубчак/*Анну Данилову*/*Анастасию Орехову*/*Ольгу Волкову*, имеющую еще бог знает сколько псевдонимов в издательстве *ЭКСМО,* и моего друга Валеру Роньшина, автора непревзойденных детских книжек из СПб

Высокий, с черными глазами, утонувшими в тени черных ресниц. Красивый, словно лейтенант из фильма про войну по роману Юрия Бондарева.

Без преувеличения самый красивый мужчина из всех, кого мне довелось видеть в жизни – о чем не могу не сказать, даже не будучи соратником укротителей Дровосека.

А просто имея лучшие годы жизни проведенными в лучшем городе мира – в Ленинграде, между Эрмитажем, Русским музеем и музеем Академии художеств, я не могу игнорировать эстетических эталонов.

Юра Обжелян был и остался для меня эталоном глубокой и высокой мужской красоты.

Кроме того, именно Юра на 1 курсе принес в общежитие первые (несерьезные, напечатанные почти на принтере) номера лучшей из всех прочих литературно-порнографической газеты «Еще». Той самой, которая (с подачи Валеры) много позже до самого своего закрытия регулярно (и за неплохие гонорары!) печатала мои вещи из раздела XXX, включая эпохальный роман «Доводчик», выходивший с продолжениями почти полгода.

* * *

Белорус Анатолий Кудласевич.

Поэт, гитарист, автор-исполнитель, просто хороший человек.

Сейчас бородатый какой-то *войнаимировский Анатоль*, тогда – всего лишь усатый просто *Толя*.

Сгусток энергии, 5 (!) раз за одно лето отсылавший один и тот же текст на творческий конкурс и добившийся-таки допуска к вступительным экзаменам!

Веселый и жизнерадостный, изначально считавший каждого человека *сябром* (то есть задушевным другом, с которым можно поделиться любыми мыслями; в русском языке не существует одного слова для передачи белорусского смысла) – и потому имевший множество истинных *сябров*.

Черноволосый солнечный зайчик, даривший свет любой компании, даже если на его гитаре – привозимой из деревни СтОлинского (на СтАлинского!) района не помню какой области – играл кто-то другой.

Человек очень щедрой души; пожалуй, один из самых щедрых известных мне вообще.

О Толиной щедрости говорит, например, такой эпизод – вроде бы несерьезный, но говорящий о многом.

Поступали мы в Литинститут гражданами единого СССР, выпустились представителями почти враждебных государств. Где-то в середине нашей учебы отделившиеся республики принялись бурно печатать собственные деньги, которые вначале вызывали именно смех. Все слышали, что в Белоруссии на одной из мелких банкнот был изображен заяц, но никто не видел их и не верил, что столь серьезная вещь, как деньги, может быть украшена таким несерьезным существом. На следующую сессию Толя привез целую пачку «*зайчиков*» («*зайцОв*», как он говорил) – и раздавал всем желающим на память…

И в то же время обладавший твердой жизненной позицией – все пять лет называвший меня не Виктором, а *Виталием*.

Хотя Виталием был другой наш товарищ по курсу – прозаик Сеньков . Человек глубоко неравнодушный, знающий всегда всё обо всех и умевший изложить свои опыты так, что слушателя охватывала иллюзия присутствия. Туманный эротоманец с томными глазами – позже я посвятил ему радикальный XXX-рассказ «Шоковая терапия».

* * *

Этнический турок – азербайджанец из Санкт-Петербурга Бакир Ахмедов.

Тоже прозаик, мой коллега по творческому семинару.

Страшный, как душман, но добрый.

Уже тогда решивший уйти из литературы в бизнес, но тем не менее не пренебрегавший компанией.

* * *

Латыш Улдис Сермонс.

Еще один мой собрат по семинару.

Умный человек, программист и шахматист, достигший сейчас мирового уровня.

Двухметровый атлет с тонкими усиками и лицом выросшего ребенка.

Автор классической прибалтийской прозы, прибалт в каждом жесте, но говоривший без акцента лучше иного моего брата по крови, знаток русского литературного языка и Моцарт нецензурного.

В минуты экспрессии обрушивавший лавину слов, из которых порой даже мне было понятным только «*твою*», и заставлявшую оппонента без боя поднять руки.

Сильный, как белый медведь – особенно в *выпитом* состоянии – но добрый, как бурый, который вырос среди людей.

Однажды в последнюю сессию, вернувшись из театра, я обнаружил дверь своей комнаты висящей на одной петле, косяк расщепленным сверху донизу, а замок валяющимся на полу – и подумал, что меня посетил вор, хотя воровать было нечего. Лишь наутро я узнал, что вчера Улдис принял дозу и мучился вселенской тоской, хотел со мной поговорить, долго стучался в дверь, потом решил, что я ему не отпираю, и вынес ее одним ударом.

К сожалению, моего друга постигла участь, характерная для многих по-серьезному умных людей: бросив пить, Улдис бросил писАть. Но еще лет 10 мы с ним обменивались личными письмами.

На русском языке, но латинскими буквами – поскольку в задушенной антирусским шовинизмом Латвии было почти невозможно найти клавиатуру с кириллической раскладкой.

Несколько рецензий, написанных Улдисом (тоже латиницей!) на *прозе.ру,* я считаю в ряду лучших, когда-либо мною полученных.

И, кстати. не кто иной, как Улдис, в свое время подал мне идею снабжать свои Интернетские произведения всеми возможными гиперссылками, создавая некую структуру, позволяющую читателю выйти из текста в общую информационную реальность..

3

С нами не сидел Слава (не скажу, какой именно).

Не то прозаик, не то поэт (думаю, и сам не представлявший своей направленности), поступивший в институт лет за 10 до нас, но спустившийся на наш курс после нескольких предыдущих.

Индивидуум, которого мог иметь в виду неподражаемый Ролан Быков (пастор в фильме «Последняя реликвия»), аттестовавший своих братьев-монахов словами:

– *Все вы - пьянщы, воры, развратники, бездельники… тупицы*!

Лохматый верзила, известный не только всему институту, но и половине Москвы после того, как (отчисленный в очередной раз за все 5 своих вышеперечисленных качеств), устроил голодовку протеста, приковав себя наручниками в чугунной ограде посольства США.

И поголодав то ли 5 то ли 10 минут, получил индульгенцию.

Известен был этот Слава и тем, что однажды он не уступил дорогу самому Евгению Евтушенко при входе в *ЦДЛ* (Центральный дом литераторов, элитный закрытый клуб с великолепным дорогим рестораном и отличным полуподвальным кафетерием, куда нас пускали по студенческим билетам как лиц почти впущенных в кружок авгуров). Двухметровый и вечно пьяный одиозный поэт всегда шел напролом, таща за собой спутницу-балерину и сметая всех, кто попадался на пути. Но наш Слава был чуть-чуть выше и гораздо пьянее – и потому победил в этом поединке века.

Но, честно говоря, отсутствие этого отморозка, врывавшегося в любую комнату с натиском саранчовой стаи, хватавшего все, что попадется под руку (продукты, выпивку, деньги, если кто-то имел неосторожность бросить на стол хоть пару монеток…) и исчезавшего в черном вихре, нас отнюдь не тяготило.

Славины привычки были известны мне с того дня, когда он лишил меня ужина.

Еще не ведая об опасности, я приехал с занятий, вскипятил воду для кофе, разложил на столе хлеб и мясную нарезку и, предвкушая удовольствие, запел:

– По дикими степям Забайкалья,
Где золото роют в горах…

Я оттягивал момент ужина, наслаждаясь песней, которую любил и за изумительно распевный амфибрахий стиха, и за привольную мелодию.

И ахнуть не успел, когда дверь распахнулась, Слава возник у стола и одним взмахом руки смел все, что там лежало.

Правда, у самой двери остановился, отломил краешек горбушки и бросил мне.

С тех пор я стал запираться изнутри, садясь ужинать.

Но тот вечер Славин визит нам не был страшен: мы сидели ради пищи духовной, не имея на столе ни корочки хлеба, ни стакана водки.

И поэтому…– ну, и поэтому тоже – я последовал завету Булата Шалвовича и не оставил свою *дверь открытой*.

Хотя никого не ждал.

* * *

Вспомнив об этом самом *Славе*, я вдруг подумал, что в моих воспоминаниях все остальные сокурсники кажутся херувимами.

Это, разумеется, было далеко не так.

Я общался только с теми, кто мне был по-человечески симпатичен и близок по духу, я не стал бы проводить вечер с кем попало.

Были и другие люди, от меня далекие.

* * *

Например, некий поэт Дима, которого все считали неприятным, хоть и безобидным *придурком*.

Придурком он и был.

Стриженный коротко, носил на затылке косичку, спускавшуюся под рубашкой до пояса – знаю, поскольку однажды мне пришлось прожить несколько дней в одной с ним комнате.

Покупал в магазине мясной фарш и ел сырым.

И так далее.

Но именно с Димой связана одна из романтических сцен моей «Ошибки» – романа, наиболее полно отражающим и мой образ поведения и мое отношение к собственной жене.

Все описанное на 175-й странице книги, вышедшей в 2006 году в издательстве *АСТ/ЗебраЕ,* происходило в действительности за исключением того, что героиня была не студенткой, а моей будущей нынешней супругой – в том время еще чужой женой и приезжавшей в Москву для того, чтобы побыть со мной без оглядки.

Те ее три приезда весной 1993 года, осенью и весной 1994 были, пожалуй, лучшими днями нашей жизни.

В один из поздних вечеров мы лежали у меня, счастливые и обессиленные любовью.

Молчали на нескромном ложе, сделанном мною из двух сдвинутых кроватей (коробок из ДСП со вставленными матрасами), перекрытых сверху парой матрасов поперек не столько для

комфорта, сколько для прочности шаткого сооружения. Ведь эти кровати, разбитые десятками предыдущих любовников, уже дышали на ладан.

Отдыхали перед подъемом на следующую вершину.

Сплетя руки и ноги, словно герои Пастернака, только на столе за ненадобностью не горело свечи.

Хилая дверь – которой бы в случае чего не требовалось бы руки доброго Улдиса – пропускала по периметру столько света, что мы могли визуально наслаждаться телами друг друга. Только *визуально*, поскольку физические силы еще не вернулись.

И в эти минуты сквозь дверь донесся далекий Димин голос.

Он стоял в тупике коридора у грязного подоконника, где целыми днями дымили и студенты и студентки. Но не курил, а пел песню из кинофильма «*АССА*».

Самую лучшую – про *город золотой*, где были и *огнегривый лев* и *голубой орел*, и *вол исполненный очей*.

Пел ангельским голосом и у меня сжалось сердце от сознания того, что этот миг один из лучших во всей моей жизни…

* * *

Был еще один – кажется, Валера.

(Не Роньшин, другой; *Валер* на курсе было несколько.)

Не помню, какой специальности, не оставивший о себе ничего вообще.

Но именно этот *Вродебывалера* с первой просьбы одолжил мне – поиздержавшемуся в неразумных тратах на женщин – пять рублей.

Сумму, эквивалентную сегодняшним 25 тысячам.

Хотя одалживать кого-то в Литинституте было столь же разумным, как сжечь свои деньги и развеять пепел по ветру.

(Хотя я-то отдал ему долг во время следующей сессии.)

* * *

Были у нас на курсе и такие люди, от которых в памяти не осталось ничего, ни имен ни каких-то деталей.

Бездарнее прозаики, мешком приплюснутые поэты, нервические драматурги, сумеречные критики…

(Я имею в виду лишь сокурсниКОВ; сокурсниЦАМ посвящен иной мемуар.)

И были такие, которые не вызывали симпатий.

* * *

Саша (не буду уточнять фамилию!) – средненький поэтик, которого спасало лишь то, что профилем своим он напоминал грустного и никогда не существовавшего в природе состарившегося Пушкина.

Единственным следом, какой он (бросив институт курсе на втором) был крик одной поэтессой, облетевший весь вокзал его последних проводов:

– Тимохи-и-ин!!! Ты зачем уезжаешь?! Кто меня тут будет трахать?!?!!..

* * *

Другой – кажется, Сергей.

Стихотворец без передних зубов, которого звали «*нашим Есениным*».

Не из-за имени и не за стихи, а потому, что пьяном виде – который был у него перманентным – плевал по все углы, а в занавески не сморкался лишь по причине отсутствия последних в нашей *литобщаге*.

* * *

Или еще один поэт.

Полная мразь – я помню и имя, и фамилию, и профессию его в родном городе, но не хочу осквернять своего текста.

Постоянно пьяный, он за два курса дефлорировал всех девственниц нашего потока, имевших неосторожность заглянуть в общежитие.

Просто так, из спортивного интереса.

А возможно, обычные женщины уже не могли его *завести*. И удовольствие он получал, лишь распечатывая всякий раз свежий сосуд. Но причина неважна, отвратительным были следствия.

Одну из этих девушек – молоденькую и на свою беду слишком *фигуристую* поэтессу – он напоил до тыку и ввел во взрослый мир в присутствии Кудласевича. Не потому, что глубоко симпатичный мне *сябр* был вуайеристом – Толя мирно спал в комнате, проснулся от криков и скрипов, а потом лежал не шевелясь, чтобы своим присутствием не вогнать девчонку в шок на весь остаток жизни.

После этой ночи она весь день провела у того окна, откуда Дима утверждал, что *кто любит, тот любим.* А когда я подошел, плечи ее вздрагивали так, что мне стало страшно оставлять ее одну около окна нашего бардачного этажа.

Окном эта девушка не воспользовалась, но после той мерзкой ночи начала всерьез пить.

И к пятому курсу – когда даже имя ее соблазнителя, отчисленного за академические задолжности, забылось всеми – сделалась законченной алкоголичкой…

* * *

Но сейчас я не желаю больше никого хаять; *tempori mutantur et nos mutantur in illis.*

Кто знает – может быть, и дегенеративный ибила Дровосек выпил свою цистерну, утратил потенцию и образумился.

Возможно, даже стал добропорядочным.

Ведь всем известно, что нет людей более праведных, нежели завязавшие алкоголики и состарившиеся шлюхи…

Сейчас я хочу продолжить о тех, кого помню и люблю – и перечислить тех, кого мне не хватало в тот вечер.

Со всей теплотой, которая с годами не иссякает во мне, а становится все ощутимее.

4

Я жалел, что не было с нами Коли Баврина.

Тоже прозаика и тоже с нашего семинара и тоже выходца из Ленинграда.

Человека в высшей степени интересного, таящего недюжинный ум и невероятную проницательность под обманчиво безразличной манерой поведения.

И кроме того, обладавшего на мой взгляд, просто-таки эталонным художественным вкусом, что для меня делало любое его замечание первозначимым. К тому же мнению постепенно склонялись и другие.

Еще в институтские времена он уже работал в каком-то издательстве и с невероятными усилиями (хоть и безуспешно) пытался пристроить моего «Зайчика».

Именно с ним (разумеется, при помощи нашего семинарского руководителя, дочь которого работала в редакции) мы публиковались в разделе «*Новые имена*» 12-го номера журнала «Октябрь» на 1991 год. Коля с рассказом «Солнце для Небыкова» на странице 153-й, я со своими «Тремястами годами» – на 157-й…

В журнале Коля был *Бавриным*.

Но его отец – человек в высшей степени оригинальный и любящий нетрадиционные решения! – ушел из семьи, а своего сына во втором браке назвал Николаем.

Когда мой сокурсник поднялся на определенный уровень, ему пришло в голову, что двух Николаев Бавриных многовато и взял творческий псевдоним.

И – я полагаю, намеренно, поскольку был тонким ироничным человеком, способным рассчитать воздействие Слова – Коля не стал ничего придумывать, а убрал из своей настоящей фамилии третью букву.

Эта изящный ход породил на нашем семинаре лавину почти анекдотических ситуаций, как-то…

Руководителя нашего семинара, вставшего во весь немалый рост над своим столом и вопрошавшего:

– Ну, а что на все это скажет барин?..

Или нечто почти Гоголевское, звучащее в рассказе Сенькова о семинаре, который я пропустил в силу форс-мажорных обстоятельств:

– Обсуждали 25-ю часть «Армии» – такая же ерунда, как и предыдущие 24… Каждый сказал по два слова, хвалил, никто не критиковал, даже Меркулов утух, всем все надоело. А потом встал барин и сказал – «А не пойти бы вам все на …»

И наконец, уже просто-таки бриллиантового диалога, для понимания которого требуются некоторые пояснения.

Наше образование было почти классическим и в то же время очень своеобразным.

Мы имели предметы стандартные для любой филологической специальности, но важнейшими считались творческие семинары. Своего рода студии, где мы постигали мастерство на основе собственных текстов и под влиянием руководителя – коим у меня был Олег Павлович Смирнов, автор сценария второй части сериала «Государственная граница».

Общие предметы были общими для всех, на семинары каждый руководитель сам отбирал учеников еще по результатам творческого конкурса (отбора по изначальному уровню литературного таланта, который служил первой ступенью перед обычными вступительными экзаменами).

На весенних семинарах мы обсуждали свои произведения – написанные на тему, заданную осенью, и присылаемые руководителю накануне сессии. Темы были лаконичными и оставляли простор фантазиям.

(Слегка отвлекаясь, скажу, что первая наша тема звучала как «Женщина».

Выбор ее без комментариев говорит о том, что именно волновало всех нас в те годы. Как не может волновать художника эта не просто главная, а по сути единственная достойная тема.

Сам я – за редкими исключениями, которые составляют лишь *Exceptio confirmat regulam* – всю жизнь писал, пишу и буду писать только с мыслью о прекрасной половине человечества.

Первая тема оказалась для меня толчком в нужном направлении. Задумавшись о женщине, я в один присест написал повесть «Зайчик». Совершил своего рода эксперимент, создав исповедь женщины, написанную от первого лица и с такими женскими подробностями, что иные читатели до сих пор считают меня кем-то вроде современного «*Жоржа*» Санд.

Повесть был отвергнута руководителем из-за несоответствия форме; мне пришлось срочно написать рассказ «Ваше величество женщина» – который при всей своей простоте тоже оказался программным.

На семинаре этого «Зайчика» разнесли в прах, меня аттестовали порнографом (хотя я не писал порнографии, а лишь создал страшную в своей правдивости историю неопытной девушки), финал повести ругали «*индийским*» (хотя я лишь дарил *надежду*, предварительно окунув читателя в кипящий лед катарсиса), и так далее. Но тем не менее эту повесть читали не только всем курсом и всем институтом; ею баловались даже преподаватели!

«Зайчик» стал моей визитной карточкой; впоследствии мне удалось дважды продать его на экранизацию и издать в *АСТ/ЗебраЕ…*

Но это уже выходит за рамки темы, я возвращаюсь к Коле Баврину.)

Мне было учиться интересно и потому я не игнорировал ни одного предмета общего курса. Добрая половина моих товарищей посещала только творческие семинары.

Это было допустимо; посещаемости никто не проверял, а сдать экзамены и зачеты не составляло труда. Сам я, не имев возможности отлучаться в Москву дважды в год на четыре недели, сдавал обе сессии весной и до 5 курса был круглым отличником.

Ленинградцы, не ограниченные *дистанциями огромного размера*, предпочитали приезжать раз в неделю на семинар, а не жить в помойке на улице Грибоедова.

Уезжали в Питер – так традиционно именовался между собой великий город на Неве. (В молодости и я звал его «*Петербургом*» – лишь после обратного переименования, ощутив себя во фронде ко всем переменам, стал говорить только «*Ленинград*».)

При этом стоить помнить, что в те времена не только не было электронных гаджетов, но даже матричный принтер был чем-то запредельным. Тексты творческих заданий представлялись отпечатанными на машинке, в нескольких (слепнущих от копии к копии) экземплярах. Количество их всегда оказывалось недостаточным для беспроблемного чтения перед семинаром.

И потому часто звучало нечто Некрасовское в разговоре двух со-семинаристов:

– Во вторник Улдиса обсуждать, не могу найти текстов. У тебя вроде есть?
– Уже нет. Барин взял рассказы – и уехал в Питер…

И, возможно не случайно, что не кем-то другим, а именно с Колей после защиты мы напились до положения риз.

Я – с досады от того, что мой безупречный дипломный сборник на *женскую* тему, озаглавленный как «Мельничный омут» по названию одного из рассказов, не получил адекватной оценки.

Барин – из солидарности со мной.

* * *

Не помню, почему тогда не пришел слушать песни светлой памяти Витя Белый.

Прозаик с Орловского семинара.

Бывший штурман аэрофотосъемки, настоящий дельтапланерист, будущий бизнесмен и владелец собственного самолета.

Один из горстки известных мне по жизни тёзок.

(Первым из которых был мой отец – врач, хирург-амбидекстр Виктор Никитович, трагически погибший на четвертый день после моего рождения.

Вторым – младший двоюродный брат Виктор Олегович (тоже названный в его память) – ныне ленинградец и без пяти минут генерал-майор инженерных войск…)

Витя Белый был невыразимо близок мне по своей *сущности*.

Ведь я должен был быть летчиком и не смог стать им только из-за плохого зрения, доставшегося по наследству.

Небо и самолеты играют важную роль в сюжетах лучших моих произведений.

Рассказов:

«Девушка по имени Ануир»,

«Евдокия»,

«Запасной аэродром».

Повестей:

«9-й цех»,

«Вальс-бостон»,

«Танара».

Романов:

«Der Kamerad»,

«Высота круга» .

И уже в наши дни, при очевидном закате своей полностью неудавшейся жизни в стихотворении «Юрию Иосифовичу Визбору» я обращался к боготворимому человеку словами:

– Я б команду давал про винты на упор.
И штурвал на себя брал бы вовремя, кстати.
И летали бы мы – то к плато Развумчорр,
То в Новлянки-село, то на остров Путятин…

И в то – *уже не кажущееся реальностью* – время, когда я был человеком, имел автомобили и радовался каждой минуте бытия, я ездил именно, как летал, разве что не мог взять на себя руль…

Поэтому, видя в Вите человека, живущего одной своей половинкой в небе, я звал его «*Штурманом*».

Витю никогда не забуду хотя бы за то, что он поведал свою историю, открывающую реальную суть одной заштампованной до неразличимости ситуации.

Однажды Штурман стартовал с горы на одолженном у кого-то дельтаплане, (свой оказался не в порядке). На порядочной высоте у чужой машины подломился дюралюминиевый подкос и она стала складываться.

– И ты знаешь, Тёзка…

– рассказывал Витя с непонятной усмешкой.

– Принято считать, что в такие минуты человек вспоминает березку у ворот или руки матери, или глаза первой любви – или пишут какую-нибудь хероту типа того, что перед ним пронеслась вся его жизнь и так далее… Так вот – все это херота и есть.

Он поглядел мне в глаза и усмешка сделалась грустной.

– *Была у меня только одна мысль*: …

И произнес нецензурное существительное из шести букв, образованное от нецензурного же наименования женского полового органа.

В тот раз – уже не помню, каким образом – мой друг гибели избежал.

Но лицо его, обычное лицо молодого человека, временами озарялось выражением – которого он, возможно, и не замечал – казавшимся мне неким *знаком обреченности*.

Увы, я не ошибся.

Штурман ушел в последний полет в начале нынешнего века – без времени и неожиданно, будучи младше меня лет на десять.

Узнав о том, я Вите *посочувствовал* (если таким словом можно описать горечь от известия о смерти товарища прежних лет); сейчас я ему *завидую*.

* * *

Почему-то не пришел в тот вечер Володя Дорошев.

Прозаик с того же семинара, что и Белый.

Крепыш в невероятно густыми, стоящими надо лбом волосами.

Человек глубоко одаренный, обладавший великолепным, звучным, мощным, глубоким баритоном.

Певец, рядом с которым я выглядел как писклявый мальчик из церковного хора.

Не игравший на гитаре, исполнявший *a capella*.

Стоило Володе принять позу и запеть:

– *У вашего крыльца*
Не вздрогнет колокольчик,
Не спутает следов мой торопливый шаг…
Вы первый миг конца
Понять мне не позвольте,
Судьбу напрасных слов не торопясь решать!

– как из полуподвальной душевой выбегали обнаженные женщины всех возрастов.

И оставляя мокрые следы, отталкивая друг дружку, бежали вверх по лестнице на наш третий «*заочный*» этаж, не дожидаясь лифта.

В обычном состоянии спокойный и не говоривший слова не подумавши, подвыпивший Володя делался *неукротимым*, как *маркиза*, хоть и в ином смысле.

Однажды, остановленный по какой-то причине милицейским патрулем, он в несколько ударов обездвижил стражей порядка и успел скрыться прежде, чем те очнулись.

* * *

И, конечно, не хватало мне Юры Ломовцева.

Драматурга и прозаика (окончившего сразу два творческих семинара), глубоко эрудированного и начитанного, знавшего литературу от Лонга до Венедикта Ерофеева.

Человека, чей образ всплывает перед глазами, стоит мне лишь мысленно произнести слово «петербуржец».

Интеллигента в неизвестно каком поколении.

Юра писал пьесы на разные темы, от исторических до современных.

С первого взгляда Ломовцев мог показаться высокомерным; он никогда не открывался в первом разговоре, а на губах его всегда блуждала отстраненная усмешка. Но стоило сойтись поближе, как становилось ясным, что он не высокомерен, а просто скрытен.

И усмешка его в самом деле грустная, какая должна быть у человека неисчерпаемого – вглубь, как атом, вширь, как Вселенная – и знающего такие печальные истины, о каких собеседник еще не задумывался.

Юра был многогранен.

Каждый день он появлялся в новом обличье.

Вчера я видел его изящным и утонченным, словно Олег Табаков в роли группенфюрера Вальтера Шелленберга из «17-ти мгновений весны».

Сегодня он шел навстречу с красными глазами, всклокоченный, раздрызганный и расхристанный, как мятежный протопоп.

(Этот *мятежный* Аввакум – образ, пущенный в наш обиход самим Юрой! – был тогда близким и понятным; сегодня вряд ли каждый читатель поймет, о ком я говорю, но информация доступна всякому.)

И никогда не мог предположить, каким увижу Юру завтра.

Много позже, приезжая в Санкт-Петербург, я вел долгие разговоры с Юрой по телефону – и всякий раз ощущал себя так, будто вновь напился из источника, который казался иссякающим.

А работал мой бывший сокурсник оператором в котельной.

И я понимал, что никогда не будет ничего хорошего в стране, где потенциал таких личностей, как Юра Ломовцев, используется с эффективностью системного блока, на котором правят молотком старые гвозди.

* * *

Но в тот момент о грустном еще не думалось.

5

Мы сидели вшестером (без женщин!) вокруг добытого неимоверными усилиями обогревателя с открытой спиралью.

Стояло холодное начало мая, батареи уже не грели, из гнилых окон, кое-где заткнутых ватой, свистел ледяной ветер, который не могли удержать и шторы, сделанные мною из чьих-то чужих простынь, разодранных надвое.

Комната моя была ужасной, как ужасным было все то общежитие со смердящими туалетами, зловонными кухнями, осклизлыми душевыми…

* * *

О, эти душевые!

Вонючие сады Эдема, о которых не могу не сказать пары слов…

Расположенные в бессветном подвале, мрачные и полуосвещенные, они напоминали газовую камеру Бухенвальда, только преддверие ада в концлагере было куда чище и уютнее.

Там бурлила *жизнь*.

Вытянутая вдоль фасада душевая имела структуру стандартную для подобных заведений, основанную на экономии коммуникаций. Два длинных ряда кабинок – мужских и женских

– располагались по обе стороны перегородки, с противоположных торцов примыкали раздевалки, имеющие выходы в коридор.

В той стене мужской раздевалки, которая примыкала к тупику женского душевого отделения, было проделано смотровое отверстие.

За место около него порой шла безмолвная война между тем, кто уже успел пристроиться и вновь вошедшим.

Наличие амбразуры было известно и каждой их тех нимф, что выходила из своей раздевалки и шлепала по линии огня вдоль ряда кабинок в поисках свободной. Но тем не менее с той стороны не было попыток заделать чем-то *окно в Париж* или потребовать у коменданта, чтобы торцевая стена душевой была наглухо забита дюймовыми досками.

Лишь редкие обладательницы женских органов кричали о том, что *хватить там подглядывать*.

Другие просто маскировались; двух рук почти всем хватало, чтобы прикрыть и сосцы и дельту.

Третьи – словно самки краба – приближались боком: укрывшись локтем, но давая усладить взор и выпуклостью своего живота и нежным изгибом спины (куда более выразительным, чем в одежде) и томительным профилем задницы.

А четвертые шли спокойным шагом стриптизерши, потряхивая всем имевшимся, и видом своим давая понять, что *нормальной* женщине приятно, когда ее обнаженное тело разглядывают невидимые мужчины.

Были и пятые – те выходили на кафельный подиум в бюстгальтере и трусиках. Не в купальнике, а именно в *белье*, разного цвета и фасона. Ныряли под душ, мылись там (судя по всему, не раздеваясь), а потом уходили прочь в мокром. Эти казались самыми коварными соблазнительницами, знающими тот факт, что женщина в мокром исподнем выглядит куда более возбуждающе, чем даже полностью голая.

Не сомневаюсь, что эти строки вам смешно читать.

Признаюсь, мне и писать смешно. Особенно сейчас, при всеобщей доступности информации на любой вкус.

Но невозможно выкинуть из песни слов.

Еще за каких-либо пять-семь лет до описываемых событий люди по несколько раз ходили в кинотеатр на бездарный во всех отношениях фильм «Вооружен и очень опасен» лишь для того, чтобы увидеть соски певицы Людмилы Сенчиной, показывавшиеся на экране на несколько секунд…

И потому можно было понять тех мужчин, которые могли просиживать бог знает сколько, скорчившись у дырки в стене, в надежде увидеть настоящую женщину. Будь она хоть одной из многочисленных смуглых вьетнамок-переводчиц мальчишеского сложения и лишенных выпуклостей своего пола…

Это не являлось извращением; нескромное занятие лишь давало выплеск гиперсексуальности.

Либидо, которое – по моему глубочайшему убеждению! – служит *единственной базой любого художественного творчества*

Душевые были открыты до одиннадцати часов вечера, но после десяти спускаться туда мужчине было небезопасно.

Я не оговорился, сказав «мужчине».

Перед закрытием до утра наша половина становилась временным прибежищем тех гомосексуалистов, которые не смогли найти себе уединения на этажах.

Горячие парни обоих оттенков голубизны гасили свет, отчего всегдашняя омерзительная вонь делалась уже просто тошнотворной. Но она не мешала им наслаждаться друг другом.

Я пишу о том столь уверенно, потому что однажды сам чуть не угодил в лапы разврата.

Припозднился с вечерним туалетом и пошел в душ слишком поздно.

Не знаю – было все преднамеренно, или меня в предвкушении приняли за другого. Но едва я разделся, как свет погас, а сзади меня обхватили чьи-то руки.

Вырвавшись – и оставив на деревянной скамье кое-что из одежды – я выбежал вон. Вернулся в нашу с Саней комнату – досадуя, что не успел освежиться перед сном.

Но мне было так неприятно, что лишь наутро я отважился спуститься в душевую за трусами, которые оставил накануне…

С тех пор я уже никогда не ходил в подвал после десяти часов вечера.

Не берусь утверждать, *лесбиянничали* ли на своей половине женщины.

Но всем известно, что женская сексуальность бывает многажды сильнее мужской; что даже в пионерлагерях СССР взаимные ласки девочек были явлением нормальным. А в нашей литобщаге многие дамы и днем ходили мыться парами, хотя за все время учебы я не слышал на об одном случае изнасилования в нашем грешном подвале.

К концу моей учебы душевые пришли в полный упадок.

Они представляли собой нечто вроде вокзального туалета, где стоял плотный дух канализации, гнилого дерева и разнородных моющих средств. Туда заглядывали лишь быстро сполоснуться под тупой струей из трубы с давно утраченной лейкой, стоя одной ногой на остатках черного настила и пытаясь не уронить мыло в смрадный, никогда не чищенный слив.

Еще позже женское отделение (почему-то именно женское, а не мужское) стало полностью непригодным. Вода стояла там почти по колено как в Берлинском метро последних дней III Рейха. Картину довершали порнографические граффити и полусгнившие эротические плакаты на черных от плесени стенах. Ремонтировать помещение никто не собирался, просто всех отправили в отделение мужское, установив график пользования через день.

При этом затопленную часть никто не запирал, желающие мыться не в свой день могли с риском для жизни идти туда.

Но там было так неуютно, что женщины опасались ходить в разгромленную душевую поодиночке, хотя с объективной точки зрения ничего не изменилось.

И поэтому я не удивился, когда одна из моих сокурсниц предложила *ходить в душ вдвоем*.

Хотя сразу скажу, что последними словами я ввел читателя в заблуждение: ничего такого не было. Даже в раскрепощенной ГДР парни и девушки раздевались у одной вешалки, но мыться шли в разные стороны.

Мы занимались личной гигиеной по разные стороны перегородки между мирами, только перекрикивались сквозь шум воды – так, словно в случае какой-то опасности я мог бы ей чем-то помочь, успев пробежать отсюда туда сотню шагов…

Но само сознание того, что я в костюме Адама разговариваю с женщиной в костюме Евы… С женщиной, которую я не вижу – но слышу, как она плещется в каком-то полуметре от меня… Это ощущение дарило мне странное удовольствие, какого я не испытывал в иных ситуациях.

Судя по интонациям голоса, моя невидимая спутница испытывала нечто сходное.

* * *

Именно это общежитие стояло перед глазами, когда я писал кошмарные интерьеры, где происходило действие XXX-романа «Семерка»– хотя ни в какую подобную мы с сокурсниками не играли.

До сих пор помню, как впервые вошел в это общежитие с чемоданом, приехав из приемной комиссии с Тверского бульвара – на троллейбусе, в числе первых абитуриентов, вместе с первым моим знакомцем, ленинградским (кажется, тогда именно *ленинград*ским) прозаиком, молодым и бородатым Лешей Ланкиным.

Как пожилой вахтер – истомившийся в летнем одиночестве – взял связку ключей, сам привел нас на «*заочный*» этаж и выбрал лучшую из комнат.

А когда мы вошли в эту «*лучшую*», то увидели грязные обои, облупленную мебель, качающийся стол с настольной лампой выпуска 1951 года (дело происходило в 1989), не имевшей не только ни лампочки, ни выключателя, но даже шнура, когда вдохнули вонь, сочившуюся из каждой щели ободранного пола…

Когда оценили это все и обратили к доброму вахтеру лица, на которых стояло изумление по поводу того, как такое может быть *в Москве*…

Тот улыбнулся грустно и сказал лишь несколько слов:

– Вы еще узнаете, что такое общежитие, в котором живут поэты…

Мы узнали; Леша бросил учебу, не завершив первый курс, я продолжал узнавать и узнавать все пять лет.

Но та, *последняя* моя комната казалась сущей преисподней.

Инфернальности ей добавляло и то, что – согласно апокрифам! – именно в этой комнате много лет назад пьяная любовница-поэтесса зарезала такого же пьяного поэта Николая Рубцова.

(О чем я писал и в другом мемуаре.)

Тогда мы еще не знали, что Рубцова не зарезали, а задушили, и не в Москве, а в Вологде.

Мы знали только, что несчастный поэт тоже когда-то учился в Литинституте.

Ведь если в наше время мы страдаем от переизбытка информации (на 50 % ложной, еще на 25 – сомнительной), то в те времена ее не было вообще.

Рассказы вахтеров были одинаковы, содержали мельчайшие подробности включая количество сигарет, которые потушила та поэтесса о тело своего возлюбленного прежде, чем воспользоваться ножом.

Страшная аура комнаты оказала на меня самого такое влияние, что на протяжении доброго десятка лет после окончания института я всерьез считал, что остался жив после месяца, проведенного там, лишь по двум причинам.

Во-первых, у меня никогда не было любовницы-поэтессы. Ни пьяной, ни трезвой.

Во-вторых, у меня в Литинституте вообще не было любовниц. Никаких специальностей.

* * *

Да – вряд ли кто поверит, но в те годы я не развратничал (ухаживал за женщинами истово, но неконструктивно) и почти не пил (принимав в компании не более пары раз за сессию).

Жил адекватно среди всеобщего разгула, но в него не окунался, а лишь наблюдал. Как кот из песни Юрия Иосифовича про деревню Новлянки – который *сидит у окна и щурится на проселок*.

* * *

Упомянув Николая Рубцова, не могу не сказать, что этого замечательного поэта я открыл для себя после фильма «Дамское танго», где в финале звучал пронзительный романс на слова его «Журавлей».

Позже я узнал кое-что о Рубцове; я проникся к нему глубочайшим сочувствием, меня пронзила его добрая беспомощная улыбка, диссонирующая с биографией детдомовца и кочегара.

Еще позже я написал страшноватое стихотворение (одно из лучших в моем наследии) под воздействием «Журавлей» и посвятил безвременно погибшему поэту.

Но все это – совсем другая история; сейчас я хочу снова окунуться в тот вечер.

6

Итак, мы сидели вокруг обогревателя.

Толик принес неизменную гитару и мы исполняли все, что было любимым и привычным.

С ним по очереди, по одной песне через раз.

Чтобы не ущемлять ничьего самолюбия, а также чтобы давать отдых и голосу и пальцам.

А также еще потому, что репертуары наши не только не пересекались, но лежали в разных плоскостях. Кудласевич пел только свои песни и только веселые, я – только чужие и только грустные.

Такой подход сохранял на месте *центр мирового равновесия* – каковой упоминал Леонид Соболев в своем хрестоматийном рассказе о словесном поединке златоуста-боцмана с еще бОльшим златоустом-замполитом.

И, кроме того, превращал наш вечер из простых посиделок двух *бардов в бардаке* в нечто возвышенное…

(– *На люстре-с?..*

– не преминул бы уточнить поручик Ржевский со всегдашним «*словоёрсом*».)

Свет был погашен, убогая комната тонула во мраке, куда-то отступил кровавый призрак убитого поэта.

Мы знали, что вот-вот окончится некий период нашей общей жизни, нам было в целом грустно.

Мы сидели и пели.

И вот тогда в мою дверь постучалась она, эта странноватая девушка-поэтесса с первого курса.

* * *

Все в том же домашнем палате с разводами, только без окантованной черной кофты.

Зашла, присела на освобожденный для нее стул.

А потом слушала.

Я играл и пел – не помню, что именно в тот момент.

Я смотрел в ее детские глаза, ловившие какой-то отблеск.

Старый рефлектор на полу сиял оранжевым диском, бросая красноватые отблески на ее лицо и на стены.

Словно сидели мы не в вонючем общежитии, а около костра во время одной из моих прежних «*колхозных*» поездок 1985, 1986 или 1987 годов

И мне было настолько хорошо, насколько могло быть аутогенному герою вчерне написанного к тому времени романа «Хрустальная сосна».

* * *

А что же было в тот вечер дальше?..

Ничего особенного.

Приближалась ночь, друзья мои тихо расползлись по своим убогим норам.

Уходили в разное время, поскольку общий разговор о том и о сем не выключился сразу (как рефлектор, у которого дважды лопалась старая спираль), а угас постепенно.

Первым ушел Толя, оставив свою гитару мне, поскольку я еще не *напелся* и не наигрался.

Последней покинула мою гавань девушка.

По всем признакам я понимал, что ей понравился.

Ведь как мог не понравиться ей обаятельный (хоть и не наделенный Обжеляновой красотой) 182-сантиметровый сладкоголосый и тогда еще буйноволосый хлюст, который стоял перед ней, отделенный лишь багровым солнцем рефлектора.

И не просто стоял, а пел:

– Гори, гори, моя звезда -
Звезда любви приветная!
Ты у меня одна заветная
Другой не будет никогда…

Пел с классическим русским выговором; пел не просто так, а с модуляциями.

То взвиваясь до вершин Вадима Козина, то падая в почти Штоколовскую бездну – ибо (говоря словами Леонида Шервинского из Булгаковской «Белой Гвардии») *кое-какой материал у меня имелся.*

Да не просто пел с модуляциями, а прожигал ее взглядом своих непроницаемо черных сербских глаз.

(Именно *сербских*, ведь я серб – в том же количестве и том же качестве, в каких был эфиопом наш величайший поэт: сербом был отец моего деда по материнской линии!

Генетики утверждают, что гены передаются на далее, чем на 2 поколения. Но не объясняют, почему правнук Ибрагима Ганнибала, мой духовный брат Александр Сергеич в профиль был неотличим от знакомого мне стопроцентного эфиопа, поэта по имени Дэвис, с которым мы были дружны в Литинституте!

Равно и мне могучая южнославянская кровь безымянного прадеда (который был пленным после *русско-с-кем-то-какой-то* войны то ли начала XX века то ли конца XIX) подарила мне не просто глаза, а Глаза.

Большие темно-карие, магнетические и абсолютно непроницаемые для постороннего взгляда. По крайней мере, я столь часто слышал это почти от каждой женщины, проходившей через мою жизнь, что в конце концов поверил в это сам.)

Так могла ли эта тихая девушка из южной провинции не проникнуться хотя бы иррациональным влечением к такому красавцу?!

Я хочу сказать лишь то, что исполнял я профессионально.

* * *

(Делая некое *отступление в отступлении*, скажу, что на том самом закате жизни я определил тот единственно возможный свой шанс, которые по глупости пропустил.

Мне стоило не разбрасываться туда и сюда, а избрать карьеру ресторанного певца, в которой я был бы только перманентно сыт и пьян, но мог превзойти самого Петра Лещенко!

В этом я серьезен, как на кладбище; я не вру!

Увы, не вру…)

Пел я не просто хорошо, а очень хорошо и тому имелось много доказательств.

* * *

В учебной части нашего заочного отделения методистом работала москвичка Полина (*Поленька*, как мы ласково именовали ее в мужских кругах).

Незамужняя (разведенная?) женщина бальзаковского возраста, про которую даже мой пожизненный кумир, артиллерийский офицер и полный тезка Виктор Викторович Мышлаевский из «Дней Турбиных» сказал бы, что она – *женщина на «ять»!*

И она была ею в той же степени, в какой я тогда был *мужчиной с твердым знаком*.

Поленька носила крепкую грудь, ходила на изумительной красоты ногах, имела благородные черты лица и пр.

Увидев ее один раз, любой нормальный мужчина испытывал естественное желание увидеть ее и еще раз… и не только *увидеть*.

Но наша Поленька – как и всякая одинокая женщина – была довольно стервозна и (как *почти* всякая) стремилась выйти замуж, причем не все равно за кого. И, разумеется, настроение ее менялось быстрее, нежели ипостаси Юры Ломовцева.

Мы с нею были в таких отношениях, что едва заглянув в учебную часть, я оценивал ее настроение и в зависимости от того или заходил или удалялся; она это знала понимала и принимала.

В лучшие минуты нежной откровенности она признавалась, что ей очень нравится Володя Нахалкин.

Тот самый, за никчемное по смыслу обсуждение которого послал на три буквы весь наш семинар принципиальный Коля-барин.

Автор огромного нудного романа «Армия» – единственного произведения о единственно ярком впечатлении своей жизни – с которым он поступил в Литинститут, который писал все пять лет и который так и оставил недописанным, получив диплом.

Фамилию его я исказил, не желая прямого упоминания, поскольку к Володе относился и отношусь хорошо.

Не будучи близкими по причине *несходных амплуа*, мы симпатизировали друг другу – как не могут не испытывать взаимного уважения два зверя разных, но могучих. И все пять лет находились в хороших, ровных отношениях.

Хотя Нахалкин-литератор казался столь же абсурдным, каким великий артист Евгений Леонов был бы в роли художественного гимнаста.

Думаю, что иногородний Володя преследовал цель повращаться в столице и жениться на москвичке. Только по непонятной причине выбрал Литинститут, а не что-нибудь попроще.

Свои матримониальные планы Володя строил не на пустом месте: он был очень привлекателен для

…женщин такого сорта, чей сорт не лучше, чем…

– как выразился бы мудрый в своей наивности капитан Гастингс в фильме «Корнуольская тайна» по роману Агаты Кристи.

Юра Обжелян был тоже привлекателен, причем для женщин всех сортов вообще.

Но если красота Обжеляна вызывала эстетические ассоциации, то Нахалкин напоминал племенного жеребца, поднявшегося на дыбы и отпустившего бороду средней окладистости.

И потому женщины *такого сорта* при одном его виде кричали «*Ура*!», хоть и бросали в воздух не *чепчики*, а *лифчики*.

Методисткой нашей он любовался – как и все мы! – но женился на девушке, годившейся ей в дочери; уже к пятому курсу стал респектабельным москвичом и оправдал тем самым свои учебные потуги.

Я ничего не имею против такого хода. Я вспомнил нашего брутального Володю лишь для того, чтобы сказать о себе.

Поленька была о него без ума, я по ряду причин не входил я ряды ее кандидатов, но…

Но стоило мне зайти в учебную часть, раскинуть руки (как горний Христос из Рио-де-Жанейро) и запеть:

– Я ехала домой…Душа была полна
Не ясным мне самой, каким-то новым счастьем…

– то милая женщина не только подхватывала в квинту, но глаза ее заволакивались туманной поволокой.

И я понимал, что – имейся в данный момент и условия и выбор – чаша весов склонилась бы не в Нахалкинскую сторону.

* * *

Я был виртуозом теоретического обольщения женщин, и виртуозность эта во многом базировалась на профессионализме при камерной исполнении романсов.

А будучи профессионалом, в компании я пел для всех, но обращался к кому-то одному.

И, разумеется, по возможности к женщине; ведь при всем своем преклонении перед аполлонической красотой Юры Обжеляна, «*голубым*» я не был никогда.

Поэтому, едва девушка пришла, свой вектор я перевел на нее.

И остаток времени пел именно ей; смотрел только на нее, прожигал ее насквозь сербскими глазами – зная, что она не сможет проникнуть в них даже на самую малость.

Вот таким я был тогда *фруктом*…

А она наверняка подумала, будто я молниеносно увлекся ею и потерял голову и раскрыла свое сердце в ответ.

* * *

Конечно, она мне нравилась, как в принципе не может не нравиться нормальному мужчине девушка, заглянувшая на огонек в домашнем платье, надетом на голое тело. (Последний факт я определил с одного взгляда; вряд ли ей было так удобно и тепло, это было уже прямым намеком на нечто.)

Но я не шевельнул пальцем к тому, чтобы если не предотвратить, то хотя бы отсрочить ее уход после того, как мы остались наедине в моей *гостиной без огней*.

Ну не совсем, конечно, гостиной – но уж точно без огней; рефлектор в счет не шел, от его жаркого свечения окружающая темнота казалась лишь плотнее и недвусмысленнее.

А я допел песню и запер за девушкой дверь, потому что собрался спать.

О причинах неадекватного своего поведения я уже писал в мемуаре «Вкус помады» и повторяться не буду.

Я вообще не придал значения ее приходу.

Когда мы собирались с Толиной гитарой, к нам часто заглядывала то одна, то другая сокурсница. Порой даже Аня, которая была профессиональным музыкантом, но тем не менее тоже любила меня слушать и пару раз даже аккомпанировала на разбитом рояле в актовом зале общежития.

Но, конечно, приходу незнакомки был рад, поскольку любому нормальному мужчине петь в обществе хоть одной женщины куда приятнее, нежели в чисто мужском.

7

Наутро я опять увидел ее в фойе около вахты.

В том же платье, в знакомой трогательной кофте, с блокнотиком в руке, около доски объявлений на которой висела какая-то телеграмма и распоряжение о смене белья студентами дневного отделения, которые – в отличие от нас – никуда не уезжали.

Она показалась мне столь грустной и потерянной, что мне захотелось обрадовать ее хоть чем-то, снова вызвать блеск в ее глазах.

И я сделал все, что мог в тот момент.

За всю жизнь не насыпав ни ложки сахара ни в чай, ни тем более в кофе, я испытывал тягу к сладкому. Причем не к чему-то пролетарскому вроде варенья из червивых яблок – я любил горький шоколад, торт «*пралине*», в крайности засахаренный миндаль… У меня часто имелись при себе сладости. И в тот день в моем пакете с конспектами лежала большая конфета: «Мишка косолапый» столь высокого качества, что ей не требовалось блестящей обертки – именно такая была упомянута в мемуаре про вкус помады. Единственная – точнее, *последняя* из имевшихся; я намеревался съесть ее в институте, когда проголодаюсь или просто устану.

Проходя мимо девушки, я достал конфету и без слов сунул в отороченный кантом карман ее кофты.

Потом поехал в институт, а она осталась в общежитии – видимо, у нее в тот день не имелось первой пары.

* * *

Не знаю, конфета ли сыграла роль, или что другое, но вечером она сама заглянула ко мне в комнату, уже не слышав песен.

Вообще надо сказать, что тот вечер был последним вечером песен в нашем пристанище.

(Не помню по какой причине: то ли сломалась гитара, то ли неугомонный Кудласевич сорвался в гастрольную поездку с другими бардами нашего института, то ли появились какие-то дела у меня.)

Да это и неважно.

Важным оказалось то, что с того дня мы с девушкой начали общаться.

Как бы случайно встретились внизу на следующее утро вместе и поехали в институт; потом повторяли такой вариант дней десять подряд.

* * *

Во время первой осознанной встречи я узнал, что по профессии она пекарь.

Помню, как ехали мы на троллейбусе, она проводила взглядом проплывшее за окном дерево в белом цвету (не помню, яблоню или вишню, тогда в Москве и тех и других было много) и сказала без всякой связи:

– Знаешь, когда я пришла туда, долго не могла привыкнуть к профессиональному жаргону. В цехе несколько печей, на каждой работают по двое, женщина и мужчина. Печей много, их не гоняют все сразу. Они очень большие, разогреваются долго. Когда происходит пересменок, начальник смотрит план и, если надо, велит запустить еще одну. Но не говорит, что надо ее осмотреть, включить, разогреть, потом поставить туда булочки и все прочее, а командует коротко: «Такая-то и такой-то идут и РАЗМНОЖАЮТСЯ на печи № 7»!

И при этом так хихикнула, что я подумал – не так ли уж неправ был в своих словах Дровосек?..

Но ничего не предпринимал.

* * *

(Сам глагол «*размножаться*» удивления не вызвал.

Сталевары говорят, что заправленную коксом и рудой доменную печь на разжигают, не запускают, не раскочегаривают, а *задувают*.

И чем пекарь был хуже компьютерщика, который говорил, что у него

мамка заглючила, ее выдрал, камень из нее выкинул, а мозги на стенку прибил,

– вместо того, чтобы долго объяснять, как у него

по непонятным причинам стала давать аппаратные сбои материнская плата компьютера, он не без труда вынул ее из корпуса, снял и отправил в мусорное ведро процессор (очевидно, вышедший из строя), а вот модули оперативной памяти (исправные) из разъемов тоже вынул, но выкидывать не стал, а повесил над своим столом, чтобы иметь под рукой, если появится необходимость срочно заменить где-нибудь такие же модули, но успевшие сгореть.)

* * *

А дальше все продолжалось в том же ключе.

Мы вместе ездили в институт, общались там во время перемен, вместе ехали в общежитие, иногда виделись там вечером.

Наши отношения не продвинулись ни на шаг.

Мы не ходили в театры, не ели мороженого, даже не гуляли по московским улицам.

Театры ее не интересовали, гулять она не любила, мороженого не ела из боязни располнеть.

Мы даже почти не разговаривали; нам было не о чем говорить.

Она ничего не читала, ничем не интересовалась, ни к чему не стремилась.

Мне – прочитавшему еще в начальной школе все 50 томов синего «*Сталинского*» издания Большой Советской Энциклопедии – было с нею скучно.

Все темы оказались исчерпанными в первый же день – не вспоминать же нам было ежедневно про размножение, этого хватило от силы на три раза.

Я никогда ничего не выспрашивал у новых знакомых; я всегда довольствовался тем, что мне сообщали по желанию. А девушка была немногословна.

Она училась на семинаре поэзии, но – как и большинство молодых поэтесс – не обладала ни талантом, ни даже до поры до времени заменяющей его экзальтацией.

Стихи ее не были ни хорошими, ни плохими.

8

Подчеркну, что они не были даже именно плохими; ведь *по-настоящему плохие* стихи оставляют в душе след куда более глубокий, нежели иные хорошие!

* * *

Чего стоило многажды упоминавшееся мною обращение к богу, прозвучавшее в стихах Ирины Новосельской , восклицавшей:

– Сблюнь, Господи!!!

Стихи Иринины в *те времена* были ужасны – словно обугленный пень, перевитый кружевными ленточками.

Но образ *бога*, которого призывали *очистить желудок*, обошел весь институт и стал притчей во языцех.

И когда я сидел в дрянной студенческой столовой, куда нам выдавали бесплатные талоны, над какими-нибудь омерзительно воняющими котлетами с гарниром из прошлогодней кислой капусты…

Сидел и сидел – как Будда на листе лотоса – не в силах заставить себя ковырнуть вилкой эту гадость…

Ко мне не спеша подходил Саня Ануфриев.

Вставал в позу, сбрасывал со лба Наполеоновский чубчик и спрашивал, ухмыльнувшись:

– Ну что, Витюшка – похоже, господи уже сблюнул?..

И ситуация прояснялась без комментариев.

А сейчас, пройдя все ступени формирования мастерства, Ирина Новосельская стала одним из признанных поэтов – по тонкости ощущений мало кто из современников может с нею сравниться.

* * *

Приведу другой пример из той же категории.

Сделав одно необходимое языковедческое отступление.

Я люблю русскую квазинормативную лексику, не только собираю и употребляю имеющиеся образцы, но и генерирую новые.

Пристрастие к нецензурному языку не есть свидетельство о недостаточной интеллигентности, некультурности, малого словарного запаса и пр. Оно показывает уровень погружения в бездонный мир самого русского языка.

Ведь и Александр Сергеич порой открыто матерился в своих стихах, заменяя буквы символами, что не меняло смысла, понятного любому русскому человеку.

Другое дело, что надо знать, когда, при каких условиях и перед кем рассыпать перлы ненорматива, а не употреблять его из-за скудословия, как делал Дровосек.

Нецензурная лексика в чисто мужской компании столь же естественна, сколь и в чисто женской.

Русский язык – как литературный, так и нелитературный – дает неисчерпаемые возможности знающему человеку.

Разумеется, любое нецензурное слово можно заменить эвфемизмом любого типа.

Можно сказать «*мышечная трубка, ведущая из промежности к матке, выстланная слизистой оболочкой и обеспечивающая процесс совокупления*». Можно употребить медицинский термин «*вагина*». Можно сказать нейтрально «*влагалище*», хотя это слово означает и ножны для меча и пазуху листа в ботанике. А можно использовать то слово, над множественным числом которого безуспешно бились мы с Саней Ануфриевым – все зависит от вкуса, места, времени.

Недаром умные носители иных языков в самые трудные минуты прибегают к русским идиомам.

Ругаются по-русски и татарин и башкирин, и чувашин и мордвин, и грузинец, и армянец…

Например, в эпоху моего бытия студентом математико-механического факультета Ленинградского государственного университета я имел приятеля-сокурсника, азербайджанца по имени Ильгам.

В отличие от душманоподобного Бакира Ахмедова, Ильгам был утончен и почти нежен, как истинный восточный мужчина. Носил благородную фамилию и утверждал, что является то ли внуком, то ли правнуком великого просветителя, чье имя присутствовало во всех выпусках Большой Советской Энциклопедии и чей портрет даже был на одной из почтовых марок СССР. И я тому верил, поскольку в малых народах не бывало однофамильцев, не являвшихся родственниками.

Но в определенных ситуациях этот изящный юноша прибегал именно к русскому нецензурному языку, причем вполне понимая смысл слов.

Особенно любил Ильгам слово из 5 букв (один гласный звук, три согласных, мягкий знак), которое исходно означает падшую женщину, но используется и для выражения сильных эмоций, и для эмфазиса и просто для связи фраз в длинном предложении. Хотя – генетически имея речевой аппарат не приспособленный для фонетики русского языка – не мог выговорить слово правильно, и ругался просто:

– *Балет*!…

В шуточных стихах хорошо звучат звукоподражательные неологизмы.

Например, в последнем куплете старой студенческой песенки, где шаг за шагом описывается процесс врастания в среду некоей молодой пары, направленной по распределению туда, куда ворон костей не заносил и постепенно заводящей живность от курочки до «*коровенка*»

– Поедем, любимая, в деревню жить!
Поедем, красивая, хозяйство заводить!
Заведем мы коровенка…
Коровенок – «муки-муки»,
Жеребенок – «бруки-бруки»,
Поросенок – «хрюки-хрюки»,
Индюшонок – «дуки-дуки»,
Уточка в носу плоска,
А курочка по сеночкам похаживает!

И эти «*дуки, хрюки и бруки*» создают неповторимый образ молодых людей, которым кажется. что все у них впереди.

* * *

Толя Кудласевич, поэт тонко чувствующий и в высшей степени креативный (хоть в те времена еще не поднявшийся на истинные высоты) тоже хотел внести свою лепту в звукопись.

И, сочинив песенку о лирическом свидании в начале лета, описал пейзажные ощущения влюбленной парочки, где имелись такие строчки (первую я забыл, поставил слоги для соблюдения размера, а окончание взял для рифмы с потолка):

– Мы с тобой… тататата-тык,
А соловей – «чирик-кирдык»!..

(В оригинале буквы были иными; *«к»= «п», «р»= «з»*…)

Этот звукоподражательный вариант неприемлем с объективной точки зрения; *соловей* – не *воробей*, он не чирикает и не кирдыкает, даже не хрюкает, а только свистит и щелкает. Сей факт был ясен всем включая самого автора; соловья – хоть раз в жизни, хоть в кино – слышал каждый.

Но тем не менее ни одни посиделки не обходились без того, чтобы мы не попросили милого Толика спеть про *пи***дыкающего соловья* и не валялись бы при этом от хохота все, вместе с исполнителем.

И этот *соловей Кудласевича* тоже стал одним из символов нашего курса.

* * *

Впрочем, для своей выразительности художественный образ не обязательно должен основываться на соответствующих категориях.

Сильнейшее впечатление оставляет соседство взаимоисключающих понятий.

Горячий снег Юрия Бондарева, Шолоховское *черное солнце*…

* * *

Или мое любимое выражение «*спал, как пиписька*» – тоже абсурдное, поскольку пиписька-то имеет ценность не когда спит, а в совсем другой ситуации…

* * *

Равно как аттестация «*сивый пидор*», данная лаконичным Ануфриевым одному из сокурсников и стопроцентно точная, хотя тот был не *сивым*, а черноволосым, и не тем самым словом, а записным бабником.

9

А у девушки стихи были никакими.

Они не имели запоминающихся образов.

Они не дотягивали до уровня тех редчайших импульсов, какие бывают даже у распоследней поэтески, забившей косяк в промежутке между двумя оргазмами на заплеванном лестничном подоконнике.

Она иногда читала их мне в троллейбусе, я кивал и хвалил из нежелания обидеть, но не слышал ничего.

Понравилось мне лишь стихотворение про будильник, но даже из него я не запомнил ни одного слова .

С этой девушкой я напрасно тратил время своей жизни.

Она была неразвита, словно дочь троглодита, и не собиралась двигаться вперед.

Я пытался объяснить ей на пальцах азы специальности – принципы силлаботоники, на которых базируется вся русскоязычная поэзия.

Эти принципы в сжатом виде могли быть изложены в одной фразе из трех периодов: рифмующиеся строки имеют равное количество слогов и одинаковые позиции ударений; каждая строка разбивается на стопы, имеющие по одному ударному слогу; варианты позиции дают два двухсложных и три трехсложных стихотворных размера, размеры со стопами большей длины являются производными.

Я разбирался в этих тонкостях еще со школы – с тех времен, когда даже сам не писал стихов. Имев за плечами почти десять лет педагогического опыта на математическом факуль-

тете Башкирского государственного университета, я умел объяснить гораздо более сложные вещи – но ничего не смог.

Не потому, что плохо объяснял – просто девушка меня не слушала, даже не пыталась вникнуть.

А ведь *считалась* поэтессой!

Я не мог понять, зачем она приехала учиться в Москву. Тем более на заочное отделение, где никто никого никуда не толкал и ниоткуда не вытягивал, а учебный процесс в полном смысле был отдан на волю волн – на желание самого студента!

Для всех было бы лучше, останься она в своем городе, и *размножайся* то с одним, то с другим на той самой печи №7.

Но тем не менее всякий раз, когда я – в комнате общежития ли, в институте, проснувшись ночью или сидя на консультации перед госэкзаменом – случайно вспоминал о ней…

В такой момент я всегда ощущал, как меня охватывает необъяснимая, но всеобъемлющая *нежность* к этой девушке, заставлявшая каждое утро подниматься ни свет ни заря, чтобы встретить ее внизу около вахты.

Тихо спускающуюся с лестницы, с маленькой сумочкой на ремешке через плечо, в неизменной черной кофте – которая у нее была одна и в пир и в мир и в добрые люди…

А потом вместе с нею пройти до остановки, сесть в троллейбус и вместе ехать в институт – даже если у меня в тот день не было занятий, я был свободен, как выпроставшийся из ошейника пес, и мог с утра ехать хоть вдоль по Питерской, хоть в Люберцы.

* * *

Сейчас я понимаю, что наши странноватые отношения напоминали какие-то «Темные аллеи», даром, что девушка не имела даже бус из высушенных рябиновых ягод.

* * *

Вспоминая те ощущения, прихожу к выводу, что за всю неоднообразную жизнь я имел всего двух женщин, к которым – без всякого обоснования отношениями – испытывал нечто подобное.

Второй оказалась Светлана Смирнова.

Поэт (не поэтЕССА, а именно поэт!), прозаик, публицист, мастер художественной фотографии, о работах которой я написал эссе, украшенное ее снимком, на котором едет веселый красно-желтый трамвайчик.

Живя в одном городе, мы встречались всего несколько раз в жизни; у нас разные мировоззрения, не всегда и не во всем совпадают оценки художественных произведений, и так далее.

Но я испытываю к Светочке такую чудовищную нежность, что даже в этом – не имеющем отношения к Уфе! – мемуаре не могу употребить ее имени без уменьшительно-ласкательного суффикса…

* * *

Мне хотелось объять эту девушку своей иррациональной нежностью, укрыть и защитить от чего-то такого, от чего не смог бы защитить ее никто – только я, пусть по непонятным причинам.

Именно непонятным, между нами ничего не было, я сам не хотел, чтобы что-то было.

* * *

Аура моей нежности разрасталась и вскоре достигла такой силы, что даже пьяная скотина Дровосек перестал ежевечерне полоскать ее имя, а направил деструктивную компоненту своего либидо на кого-то другого.

Не потому, что я подошел к этому елдаку и без слов начистил ему рожу – мне очень стыдно, но я ни разу в жизни никого не ударил по лицу.

И не после внушений; усовещать пьяного бесполезно, а трезвым поэта видела разве что родная мать, да и то в день его появления на свет.

Просто мое поле, распространившееся на девушку, было столь сильным, что встающее солнце русской поэзии быстро перекатилось в другой угол.

* * *

Мучимый почти отцовским желанием заботиться о ней – хоть и быв максимум пятнадцатью годами старше! – однажды я совершил настоящий *поступок*.

У девушки остался несданным один зачет (кажется, по стилистике) и не имелось перспектив его получения, поскольку преподавательница оказалась не по-заочному принципиальной.

Всю жизнь имея внешние черты упомянутого *Мышлаевского* (в исполнении Владимира Басова), я умел при необходимости проявить и вкрадчивость Дон-Жуана и наглость Остапа Бендера.

И своим словесным напором даже черта мог заставить перекреститься.

Не выключая обаяния первого, я запустил второго и третьего – и вломился к преподавательнице с нахальной просьбой поставить девушке зачет без объяснения причин своей заботы.

Стилистичка была ошарашена, но и я был непрост. Для нее я считался никчемным студентом, но сам был преподавателем в университете, кандидатом наук и утвержденным доцентом, я знал себе цену ну и умел ее показать. А она, кажется, доцентом еще не стала. Крепость держалась недолго, моя воля взяла верх, черт перекрестился.

Но возвращая мне книжку со свежепроставленным (без участия самой девушки, которая все это время стояла в коридоре и смотрела в стену!) зачетом, преподавательница посмотрела в мои непроницаемо черные глаза.

Не сумев проникнуть в душу, вздохнула и сообщила, что у моей протеже интеллектуальное развитие застопорилось на уровне 12-летнего ребенка (то есть она не могла считаться даже девушкой) и если я хочу, чтобы она могла учиться дальше, то обязан *заняться ею всерьез*.

Относительно первого я уже догадался сам, в направлении второго у меня не имелось ни сил, ни желаний.

Даже если словами *заняться всерьез* преподавательница намекала мне на необходимость кое-чего хоть и серьезного, но не требующего с моей стороны никаких усилий кроме одного – физического и для меня самого отнюдь не неприятного…

* * *

Через некоторое время (две, от силы через три недели) – мы расстались по причине моей естественной убыли в Уфу.

Расстались спокойно и без эмоций – хотя, кажется, все-таки поцеловались на прощанье.

10

Правда, потом мы обменялись несколькими писульками. Самыми обычными, на бумаге и в бумажных конвертах с наклеенными марками. О самом существовании электронной почты в России тогда почти никто еще даже не догадывался.

Ее письма были написаны ровным детским почерком на аккуратно вырванных листках из тетрадки в клеточку.

В одном девушка писала, что по-прежнему работает пекарем, только не уточняла, сколь часто размножается с кем-нибудь на печи.

Во втором скупо сообщала, что ведет в своем городе какое-то поэтическое литобъединение – это меня удивило, поскольку я считал ее неспособной даже писать свое, не говоря уж о том, чтобы кого-то чему-то учить.

А в последнем на полях красовался орнамент, который она явно рисовала, раздумывая над текстом – последний сообщал о ее решении начать новую жизнь и больше мне не писать.

Хотя, повторяю, в наших с нею отношениях не было ничего такого, что требовало бы забыть меня для начала новой жизни.

Письма эти канули в Лету – как пропало у меня почти все, что связывало меня с прошлой жизнью.

Все ушло без следа – точнее, и уходить-то было нечему.

11

Но спустя годы выяснилось, что не без следа.

Я стал совсем иным.

В те времена я был глупым максималистом, был готов в буквальном смысле *мериться писиськами* с каждым, кто на миллиметр не совпадал с моими стандартами, а с ними не совпадал почти никто.

Сейчас я смягчился и стать искать что-то хорошее почти в любом человеке и по-иному смотреть на природу вещей.

* * *

Я вспомнил эту девушку.

Я искал ее на различных ресурсах и по имени-фамилии (зная, что реально пишущие авторы редко меняют фамилию после замужества) и по городу обитания и по предполагаемому году выпуска из Литинститута.

В конце концов я ее нашел.

Не буду говорить где, не скажу под какой фамилией и под каким псевдонимом.

Это не важно.

Важным для меня было лишь то, она перестала быть поэтессой и сделалась поэтом.

Ее стихи совершенны, в них появилось все, чего не было в далекие годы – и форма, и мысли, и образы.

Хотя лицом она до сих пор напоминает «*Кроткую*» Федор Михалыча, какой казалось мне в первые дни нашего знакомства.

И ко мне вдруг пришли новые думы – возможно, чересчур смелые. хотя я редко ошибаюсь в таких вещах.

Может быть, в тот год она на самом деле находилась в летаргическим ступоре после своей трагедии?

Была действительно в состоянии той самой *кроткой*, еще без иконы в детских по сути руках, но уже видящей последний подоконник за каждой белой стеной.

И я… – именно я, она ни с кем больше не общалась целых десять дней – увел ее подальше, заставил повернуться в другую сторону… И, возможно, даже дал первотолчок к настоящим стихам. Ведь все-таки я разговаривал с ней о теории стихосложения, читал своих любимых поэтов, говорил еще о чем-то.

Это, конечно, очень самонадеянно – но так хочется верить, что в своей жизни я сделал *хоть одно доброе дело*…

* * *

И, судя по всему, эта девушка тоже оставила во мне след.

Ведь недаром россыпь сверкающих камешков, оставленных в моей душе собратьями по Литинституту, я вставил в рамку истории нашей странной связи.

И написал этот мемуар.

С какой целью?

Что я собирался поведать и кому?

Зачем я это сделал?

Происходило ли в реальности все описанное? Да, происходило.

Все ли было точно так, как я описал? Нет, не было.

Привнес ли я какие-то собственные штрихи? Да, привнес.

Соблюдал ли я хронологию событий? Нет, не соблюдал.

Выпустил ли я нечто ненужное? Да, выпустил.

И так можно продолжать до бесконечности.

Это естественно.

* * *

Литературное произведение должно иметь точный баланс реальности и вымысла, иначе оно перестанет быть *литературным произведением*.

Если в тексте нет реальной основы, а там лишь перепархивают с кочки на кочку *сверкающие никелем омудонские крокодябры* – то это не литература, а фэнтэзи.

Но если реальность не озарена малой искоркой вымысла, то и тоже не литература, а полицейский протокол.

* * *

Я взял из реальности то, что захотел.

Убрал ненужное, добавил то, что посчитал необходимым.

И описал все тоже именно так, как хотел.

В результате получились не нудные воспоминания и не отвлеченный рассказ, а именно *произведение*, в котором я восстановил время и воздал каждому по заслугам (включая самого себя!).

Вспомнил с теплом тех, кто был мне близок и дорог, без прикрас нарисовал людей недостойных.

И, надеюсь, вызвал у вас улыбку.

* * *

Наверное, затем, чтобы сказать хотя бы самому себе, что почти исчезнувший след помады на моем Литинститутском дипломе вполне могла оставить не какая-то невнятная *свистушка–сокурсница*, а именно она -

Девушка с печи № 7

«В то лето шли дожди…»

1. «В кровь израненные именами,
Выпьем, братцы, теперь без прикрас
Мы за женщин, оставленных нами,
И за женщин, оставивших нас.»
(Юрий Визбор. «В то лето шли дожди»)

2. «Женщины занимают отдельную нишу
в моей творческой чувствительности.
В них много волшебства.»
(Стивен Хэнкс.)

3. «…Я уже не в первый раз ловлю себя на том, что получаю удовольствие от чтения твоих рассказов и романов, потому что они написаны вот с такой глубиной, подробностями, цветными картинками и потрясающими сравнениями… Еще в них есть (иногда) такой веселый и проникновенный цинизм и, конечно, через все это ну просто золотой нитью сверкает твоя неистребимая и чудесная любовь к женщине.»
(Анна Данилова. Из частной переписки
с автором этой книги)

4. «…в те годы сам себе я казался порочным,
как артист Домогаров.»
(Виктор Улин. «В то лето шли дожди…»)

Женщины в моей жизни

Как-то раз, сидя в коридоре одного не слишком веселого заведения, я слышал интересную телепередачу.

Телевизор я не смотрю с прошлого века, но там мне было некуда уйти.

Правда, меня сразу привлек голос героя – Александра Клюквина, актера Малого театра. Театр еще в Литинститутские времена был моим любимым; именно там я наслаждался кристально чистым, стопроцентно правильным русским языком, которого сейчас не услышишь уже нигде.

Потом я стал воспринимать смысл слов и понял, что «*Главный голос России*» – очень умный человек и говорит весьма дельные вещи.

Будучи, как и все служители искусства, не слишком счастливым в личном плане, он много внимания отдал теме женщин.

В отношениях, возникающих между полами, Клюквин определил два возможных лейтмотива: *страсть* и *любовь*.

* * *

Страсть, по словам артиста – это *желание и жажда*, она всегда черна и недобра.

Любовь светла, потому что в ней – *нежность и доброта*.

* * *

Замечательный артист несколькими выразил мысли о Любовях Земной и Небесной, что еще несколько веков назад молча сказал своей картиной Тициан.

* * *

Телепередача подошла к концу, началось какое-то шоу про здоровье – какого никогда не было, нет и не будет у нормальных людей – а я все думал над словами Клюквина.

И пытался понять, который из вариантов был главным для меня.

Потом понял, что с годами отношение к женщине меняется, как меняется и сам человек, имеющий способности внутреннего развития.

В молодости нами движет страсть, в зрелости берет верх любовь, а в старости…

В старости мысли о женщинах побуждают писать мемуары.

* * *

Я прожил не очень долгую, но насыщенную и суетную жизнь.

Имею 2 высших образования: окончил мат-мех факультет Ленинградского университета и заочное отделение Литературного института по семинару прозы.

Бывал сотрудником Академии наук, доцентом в 3 ВУЗах, работал в 3 фирмах и 1 конторе, руководил 2 транспортно-экспедиционными компаниями, вел 2 ИП…

Все то служило лишь разными средствами овладевания главной ценностью.

А она оставалась неизменной и ею были женщины.

* * *

Чувственный художник Стивен Хэнкс выразился о женщинах в своей жизни весьма скромно.

Я признаюсь более радикально:

Женщины – это мое ВСЁ

Я жил только женщинами, потому что иначе жить нет смысла.

И потому самый объемный мемуар книги я посвятил именно им.

* * *

Всю жизнь меня вела вперед чувственность и я не боюсь в том признаться.

Человек, не обуреваемый страстями и бесчувственный, как березовый пень, может быть интересным только самому себе.

Да и то не каждый день.

* * *

Всю жизнь больше жизни я любил женщин.

И надо признаться, что иногда они любили меня.

Мои имена

Будучи суеверным, как десять тысяч Пушкиных, я подвержен еще и магии имен.

Женских в особенности.

При выборе женщин я руководствовался прежде всего именами, а уже потом всем остальным.

* * *

То, что главной женщиной всей моей жизни является моя вторая и последняя жена, моя счастливая 11-я любовь -

единственная встреченная Светлана

– есть *exceptio confirmat regulam*, не побоюсь еще раз повторить одно из своих любимых выражений.

И в стихотворении, ей посвященном, я писал:

Но свету свет даруешь только ты
И в целом свете нет иного света.

* * *

Приверженность к определенным именам у меня порой просто катастрофична.

(И даже деструктивна, поскольку до определенного возраста для творческого тонуса мне было необходимо пребывать в состоянии перманентной влюбленности в какой-нибудь объект женского рода.)

* * *

Мою 3-ю по счету, но умопомрачительную (хоть и совершенно платоническую!) любовь, пронзившую в 3-м классе школы, звали Натальей.

После этого, подпитанный мыслями о жене Пушкина (которую в те времена я еще уважал по недомыслию) и сходными инициалами, влюбился в свою первую жену Наталью Г., идущую в списке любовей под номером 8.

Впоследствии в списке женщин, сыгравших ту или иную роль в моей жизни, оказалось еще 11 Наталий.

* * *

Всерьез и осознанно я влюбился в 10-м классе в девочку по имени Ирина.

Эта любовь имеет №5, но на самом деле является первой в классическом понимании. Она сопровождалась стихами, пылкими объяснениями, признаниями и серьезным телесным томлением, какого прежде я не знал.

Имя привязало навсегда; порой овладевая 7-й, 8-й или 10-й по счету Ириной, я воображал, что имею самую первую из всех, так мною и не познанную.

В результате Ирин в моей памяти осталось целых 14.

(Одной из них, сокурснице по матмех факультету, маленькой Ирине Ю. еще в 1978 году было написано стихотворение на обороте ее фотографии, сделанной мною.)

* * *

Но и это еще не предел!

* * *

Ощущая с детства имманентную тягу к одной из героинь великого романа, о которой писал в эссе «Онегин? Ленский… Германн!», я обозначил для себя 19 Ольг.

* * *

Одной из них (О.С.) посвящено много стихов, едва ли не лучших в моем наследии.

Эта Ольга С. – моя (увы, оставшаяся не доведенной до конца) любовь №10, была самодостаточной и спокойной.

Спокойной до такой степени, что, работая санитарным врачом на тогда еще живой Уфимской кондитерской фабрике, пропустила сифилис у работницы на конвейере – беспрецедентный случай обсуждала вся местная медицинская общественность.

* * *

Что же касается Ольгиной старшей сестры…

Ни одной Татьяны в моих приятных списках нет.

Зато моей неудачной любовью №6 была именно Татьяна.

(Причем в фамилии своей лишь 2-й и 3-й буквами отличающаяся от Лариной, а по отчеству совпадающая с Татьяной Кузьминской, прототипом Наташи Ростовой из «Войны и мира». Моя одногруппница, ленинградка и генеральская дочь со всеми вытекающими безрезультатными последствиями романа.)

* * *

Была в моей чисто литературной жизни даже одна знакомая Нателла, со звучной греческой фамилией Папянци.

Вместе со своей сестрой Ольгой (!) она руководила двумя киностудиями.

Милые сестры-гречанки – красивые, как две Афродиты – 2 раза покупали у мене права на экранизацию моего «Зайчика» – подарили удовольствие два раза слетать в Москву за их счет (со всей атрибутикой VIP-сервиса вплоть до огромного плаката с моей неблагородной фамилией, который держал над головой присланный за мною водитель в Домодедовской толпе встречающих) и принесли мне доход в несколько тысяч долларов.

* * *

Все описанное иррационально, но все именно так.

Приверженность к определенным женским именам порой доходила у меня до абсурда.

Достаточно вспомнить 2 эпизода из среднего периода моей литературной жизни – из эпохи литобъединении Рамиля Хакимова при газете «*Ленинец*», о котором говорилось в мемуаре «Уфа».

* * *

Однажды на заседание «*лито*» пришла поэтесса Лариса К.

Впоследствии она выпустила книгу; стихов ее я не помню, а на современных порталах ее, к сожалению, не нашел.

Но имя «*Лариса*» всю жизнь относилось в числу самых приятных для моего слуха и самых любимых для моей души – и в те дни от той женщины я просто млел.

Она была не просто красивой, а заставляла меня трепетать.

Хотя реальную (разумеется, совсем другую!) Ларису – единственную за всю жизнь – я присовокупил к своему списку десятилетиям позже…

Но это – совсем иная история.

* * *

Приходила на Хакимовское литобъединение и поэтесса Лина С.

(Эта женщина состоялась и как поэт и как человек; сейчас она – доктор философских наук и профессор, и при том пишет очень хорошие, пронзительные и грустные стихи).

Изначально я проникся к ней тоже из-за имени.

Оно напоминало мне об ушедшей эпохе советских номинативных неологизмов.

Например, мою маму звали «*Гэтой*», и непосвященные считали его либо кратким вариантом немецкой «*Гертруды*», либо усеченной «*Гретой*» не-Гарбо, либо русификацией еврейского «*Гита*» (хотя, увы, еврейской крови во мне нет ни капли). На самом деле имя было придумано моим дедушкой Василием Ивановичем в 1930 году, в эпоху буйства «*Марленов*», «*Октябрин*», «*Красарм*» и даже «*Оюшминальдов*». И возникло оно от аббревиатуры «*ГЭТТ*», что означало «*Государственный ЭлектроТехнический Трест*». Эту надпись прочитал мой дед – парторг ЦК одного из танковых заводов Ленинграда – на первом советском магнето…

(Впрочем, маму стоило назвать именно *Гертрудой*.

Ведь это имя в советском варианте расшифровывалось как «*Героиня Труда*».

А моя бедная мама всю жизнь протрудилась, как папа Карло, под руководством всевозможных дураков (единственным нормальным ее начальником был выдающийся советский математик, член-корреспондент АН СССР Алексей Федорович Леонтьев), не имея перед собой никакой цели кроме добросовестного выполнения должностных обязанностей.)

Имя «*Лина*» является сокращением от «*СталИна*» – пояснять этимологию не вижу смысла.

Правда, пик «*СталИн*» приходился на 1953 год, означивший конец Эпохи со смертью Генералиссимуса, а маленькая башкирочка была явно моложе даже меня, родившегося в 1959.

Но это не казалось мне важным; тем более, что Лина С. внешним обликом стопроцентно вписывалась в излюбленный мною женский тип.

В тот период жизни я уже поступил в Литинститут, оторвался от уфимского окружения.

После институтских творческих семинаров это «*лито*» было нужно мне, как гинекологу – вечер со стриптизом.

Но все-таки я продолжал посещать заседания вплоть до полного развала системы подготовки молодых литераторов в рамках ВЛКСМ.

И делал это исключительно ради того, чтобы посидеть рядом с Линой, не видя и не слыша никого больше.

Недавно выяснилось, что Лина С. к настоящей СталИне отношения не имела: ее звали просто «*Линарой*»…

И бог знает, проникся ли бы я имманентной страстью к этой черноглазой поэтессе, узнай в свое время ее полное имя…

Но это еще одна *совсем другая история*.

* * *

Помню также, как я был недолго, но всерьез увлечен своей сослуживицей по БГУ Эмилией Анатольевной Е. лишь из-за аллитераций ее имени и отчества.

* * *

Отмечу попутно, что магия имен в моих жизненных предпочтениях не была исключительно гетеросексуальной.

* * *

В раннем детстве – если быть точным, 12 апреля 1961 года – прохожие указывали на меня, одетого в детский комбинезончик стального цвета и говорили, что по улице Достоевского (бывшей Тюремной) города Уфы идет космонавт Юрий Гагарин.

После этого мне самому хотелось носить имя «*Юрий*».

Позже привязанность к имени переросла в отношение к его носителям.

Именем определялась моя изначальная расположенность к людям, среди которых были

уфимский поэт Юрий Андрианов (чьи имя и фамилию получил герой одного из моих последних и, пожалуй, самых глубоких произведений – повести «Пчела-плотник»);

уфимский журналист Юрий Федорович Дерфель.

Сокурсники по Литинституту:

петербуржец драматург Юра Ломовцев;

украинец прозаик Юра Обжелян.

Разумеется, Юрия Иосифовича Визбора я люблю прежде всего за стихи, но имя играет в этой любви роль не последнюю.

Даже Лермонтов не был бы мне так дорог, не будь он Михаилом Юрьевичем…

И что уж говорить о моем московском дяде Юре – мощном харизматике, при каждой встрече знакомившем меня со своей новой женой.

* * *

Имени «*Евгения*» повезло куда меньше, хотя оно мне тоже нравится.

Среди моих женщин была всего одна Евгения. Да и то, будучи существом как бы женского пола, по своей ориентации она имела род скорее мужской, хотя отношения между нами все-таки достигли той степени, которая является изначальной целью в отношениях мужчины и женщины…

Я, кажется, запутался в словах – но знающий поймет все, что я хотел сказать, а незнающему поберегу невинность.

Но тем не менее именем Евгения как главного, аутогенного и автобиографичного, героя освещены два моих любимых романа: «Хрустальная сосна» и «Der Kamerad» – причем в «Сосне» фигурирует еще и девочка – тёзка главного героя, сыгравшая важнейшую роль в разрешении его судьбы…

Но это не имеет никакого отношения к Литературному институту.

* * *

Равно как не имеет к нему отношения и моя имманентная привязанность к Жене Козловской – уфимской писательнице, прозаику и поэту.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.